



МАЛИ ФРИТЦ
ГЕРМИНЕ ЮРЗА

ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЖИЗНЬ!

ПОЛИТИЗДАТ



**МАЛИ ФРИТЦ
ГЕРМИНЕ ЮРЗА**

**ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЖИЗНЬ!**

**Москва
Издательство
политической
литературы
1988**

Д
М
Г
С
Л
И
Л
С

ББК 63.3(0)62

Ф89

Перевод с немецкого *А. И. Иванова* и
И. Е. Зильбермана

Фритц М., Юрза Г.

Ф89 Да здравствует жизнь! Ад. 565 дней в
Освенциме-Биркенау. Назад в жизнь: Пер.
с нем.— М.: Политиздат, 1988.— 208 с.
ISBN 5—250—00126—2

Нужно ли вспоминать об Освенциме, об ужасах гитлеровских застенков, ворошить тяжелое прошлое? Бывшая узница фашистских концлагерей Мали Фритц, отвечая на этот не раз слышанный ею вопрос, пишет: «...если спустя многие годы после пережитого я слышу брошенные кем-то слова «очень плохо там, наверное, не было»... если многие реакционеры открыто выступают в защиту фашизма... если со стороны правых сил идет прославление войны, объявляют вне закона движение Сопротивления, а все, что касается лагерей уничтожения,— «чистейшей ложью», то необходимо говорить об Освенциме». Люди не должны забывать скорбные страницы истории человечества. Под общим названием «Да здравствует жизнь!» объединены две книги воспоминаний австрийских коммунисток о пережитом в концлагерях и о возвращении в Вену пешком весной 1945 года. Адресуется широкому кругу читателей.

Ф $\frac{0506000000-199}{079(02)-88}$ КБ—5—105—88

ББК 63.3(0)62

Заведующий редакцией *А. В. Никольский*. Редактор *Е. Б. Салынская*. Художник *В. И. Андреев*. Художественный редактор *Е. А. Андрусенко*. Технический редактор *Т. Н. Полупина*.

ИБ № 5872

Сдано в набор 23.02.88. Подписано в печать 04.05.88. Формат 70×90^{1/32}. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 7,61. Усл. кр.-отт. 7,90. Уч.-изд. л. 7,81. Тираж 100 тыс. экз. Заказ № 2201. Цена 35 коп.

Политиздат. 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.
Ордена Трудового Красного Знамени типография изд-ва
«Звезда». 614600, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.

ISBN 5—250—00126—2

Перевод на русский язык
© ПОЛИТИЗДАТ, 1988 г.

МАЛИ ФРИТЦ

**АД.
565 дней
в Освенциме-
Биркенау**

MALI FRITZ

ESSIG GEGEN DEN DURST

565 TAGE IN AUSCHWITZ-BIRKENAU

VERLAG FÜR GESELLSCHAFTSKRITIK



Профессор и ученица

«Малкеле, золотце,
будь твой отец
таким же богатым,
как отец Анни,
тебе жилось бы
так же хорошо,
как ей...»

Я: «Нет, я не
хотела бы не знать,
что такое бедность».

Профессор: «Теперь
я вижу, куда все
это тебя заведет...»

Вена, 1930 г



БЕЗРОДНЫЕ И БЕЗЗАЩИТНЫЕ

События, происходившие весной 1940 г., — вторжение гитлеровских войск в Бельгию, Нидерланды и Люксембург, а позже во Францию — отразились на судьбе тех австрийцев, которые в 1938 г. или еще раньше нашли во Франции убежище, — внезапно они превратились в «подозрительных иностранцев». После того как нацисты оккупировали северную часть Франции, а затем около двух третей территории страны, положение австрийских эмигрантов, беженцев и изгнанников заметно ухудшилось, так как для нового французского правительства Виши они стали откровенно «нежелательными элементами». Правительство Виши, находившееся в неоккупированной южной части Франции, всячески желая услужить нацистскому режиму, заключило с ним секретное соглашение о выдаче германскому рейху определенных лиц. Ими были не только политические активисты, но и далекие от политики люди, которые по расистским или каким-либо иным причинам считались противниками режима. И все они — антифашисты, эмигранты, изгнанники попадали затем в ловушку, которая для очень многих скоро оказалась наглухо захлопнутой. Национал-социалистская система была рассчитана на тотальную войну, которая миллионам людей причинила невиданные в истории муки и страдания.

Австриец Йозеф Пастернак, некогда участник антифашистского движения солидарности с Испанской республикой, выдал во Франции многих австрийцев, преимущественно коммунистов. Меня арестовали в мае 1941 г., и в октябре я вместе с другими заключенными предстала перед судом французского военного трибунала в Монтобане.

Возможно, французская юстиция хотела этим процессом преподать наглядный урок: вот что, мол, ожидает активно действовавших в Австрии антифашистов.

Судебный процесс состоялся в неоккупированной части Франции. Именно тогда, когда большинство верили, что победоносное наступление гитлеровской армии задержать не удастся, военный трибунал проявил относительную независимость, и многие из нас были оправданы.

Но полиция правительства Виши рассудила иначе, и вместо того чтобы освободить нас, отправила в лагерь Бренс на реке Тарн, откуда в начале лета 1942 г. я вместе с моим другом совершила побег и была на пути в Париж. Но в дороге мы наткнулись снова на того же доносчика, который, как выяснилось, находился на службе у гестапо и предавал австрийских антифашистов, прежде всего бывших бойцов интербригад в Испании. Гестапо арестовало нас и передало в руки так называемых компетентных органов: моего друга — в гестапо Верхней Австрии в Линце, меня — в гестапо Вены. В Париже товарищи тщетно ждали приезда моего друга, а спустя время разнесся слух, что нас обоих казнили.

О зверствах нацистов стало известно уже в 1933 г. Бежавшие из Германии эмигранты рас-

сказывали, как нацисты расправляются со своими противниками, брошенными в тюрьмы и концентрационные лагеря. Многие беженцы охотно делились своими переживаниями. Но некоторые из них не желали говорить на больные темы или боязливо шептали о том, что им пришлось вынести. Они опасались мести нацистов близким им товарищам, ибо выпускаемых на свободу строго предупреждали, что они дорого заплатят, если не будут держать язык за зубами.

Нацистский режим вел войну и внутри страны — в семьях сограждан, в селах и городах. С каждым годом положение становилось все хуже. Мне это не сулило ничего хорошего.

С первого же дня ареста я решила вести себя так: никого и ничего не знаю. Если я не хочу кому-либо навредить или дать врагу какую-нибудь информацию, то должна твердо придерживаться этой версии, независимо от того, правдоподобна она или сомнительна, будет принята или отвергнута. Неосторожно сказанное слово может повлечь за собой одну беду за другой. Ведь наци усиленно пытались дознаться, где находятся австрийские антифашисты, чем они конкретно заняты во Франции. Каждое мое слово будет использовано в первую очередь против моего друга. Но этого не произойдет. Итак, решено: я его не знаю, и мне ничего не известно.

На рассвете нас обоих, моего друга и меня, скованных одной длинной цепью, доставили из Дижонской тюрьмы на вокзал. Город еще только просыпался, и мы, бредя посередине мостовой, не мешали движению транспорта. Длинную цепь мы опустили наземь, ее дребезжание

привлекало внимание редких прохожих — столь жестокое обращение с заключенными нельзя было не видеть. В этот час на улице появлялись торопившиеся на работу французские рабочие. Одни останавливались, другие некоторое время шли рядом с нами. Мы старались посмотреть им в глаза, и они молча разделяли наш гнев. У всех нас была общая беда. Мне так хотелось крикнуть им слова припева широко известной французской революционной песни «Ça ira»: «Ah! ça ira, ça ira!» («Пойдет!»), то есть активно продолжайте борьбу, и тогда дело пойдет, обязательно пойдет!

Так как доносчик не только получил вознаграждение за каждого преданного им антифашиста, но еще хотел насладиться видом своих жертв, он вошел в наш поезд и сел недалеко от арестованных — это не был специальный транспорт заключенных, — чтобы под защитой надзирателей со злорадством понаблюдать за нами.

Дальнейший путь мы проделали в специальных поездах, перевозивших заключенных. Такой транспорт тащился неделями, арестованных перебрасывали из одной тюрьмы в другую. Положение наше осложнялось тем, что железнодорожную магистраль Штутгарт — Мюнхен, по которой мы ехали, часто бомбили.

Среди нас было немало совсем молодых, юношей и девушек, это не могло не вызывать любопытства многих людей, которых мы встречали в пути. И пока транспорт вез нас из Дижона в Вену, меня беспрестанно мучил один и тот же вопрос. Что должны были думать эти свободные немцы, видевшие нас на железнодорожных станциях или при переброске из одной тюрьмы в другую, были они поражены или оза-

дачены? Отнюдь. Мы были для них не заслуживающей внимания, куда-то перевозимой безликой массой. Или они полагали, что мы справедливо оказались среди обреченных?

Транспорты заключенных — тема особая. Чем больше свирепствовал нацистский террор, тем хуже обращались с арестантами во время их бесконечных передвижений. Нацистский режим испытывал неутолимый голод во все новых массах заключенных, который оставался неудовлетворенным вплоть до последних дней его господства. Постоянное и непрерывное передвижение эшелонов арестованных во всех направлениях по территории рейха объяснялось характером и содержанием нацистского террора. Фашистские агенты вдабливали в головы немцев, что враг таится повсюду, что он всегда рядом и подслушивает. Поэтому необходимо молчать и быть сдержанными. И люди о многом молчали, в частности о транспорте отверженных и месте их назначения...

Сложные и запутанные маршруты транспортов были страшной игрой нацистов с целью запугать сограждан, заставить их прекратить поиски похищенных родственников, пропавших без вести.

Меня поместили в Венскую полицейскую тюрьму, обычно именуемую «Лизль», расположенную на бульваре Элизабет. Там я находилась сначала в общей камере, потом меня запихнули в «одиночку», где уже были четыре или пять человек. Тюремщики зорко следили за тем, чтобы я не оказалась вместе с политическими заключенными. Следователь, который вел мое дело, через девять месяцев от меня отказался. Напоследок он пообещал, что меня

ждет много интересного впереди, например когда будет мучить жажда, мне вместо глотка воды дадут уксус, а потом бросят на съедение голодным псам... «Вы сами этого хотели», — в бешенстве заявил он.

Добродушный пожилой надзиратель, очевидно, тоже знал, куда меня отправит гестапо. Чуть приоткрыв дверь, он прошептал: «Тебя отошлют, я принесу тебе вишни, они уже созрели в моем саду». Скороговоркой он дал мне понять, что потом, «когда закончится война», появится возможность спастись бегством, и в этом он окажет содействие. На что он рассчитывал? На победу нацистов и опьянение этой победой или на их поражение? Но в любом случае его слова о вишнях, которые он мне принесет, прозвучали для меня настоящей музыкой, а обещание помочь в организации побега я поняла как намек, что каким-то образом он связан с Сопротивлением и теми, кого нацисты считали представителями низшей расы.

Возможность оказаться в концентрационном лагере вызывала у заключенных жуткий страх. Поэтому, как рассказывала мне одна уголовница, многие из них шли на полное признание в совершении преступления, только бы избежать концлагеря.

Об Освенциме я тогда еще ничего не знала, но должна была считаться с возможностью очутиться в концлагере. Следователь гестапо угрожал мне дать показания, и тогда концлагерь можно будет заменить обычной тюрьмой. Порой, чтобы что-то выведать, я пыталась сама задавать ему вопросы, пока сидевшая за машинкой фрейлейн визгливым голосом не спросила: «Собственно, кто здесь кого допрашива-

ет?» Однажды следователь предложил новую комбинацию: меня освободят, под вымышленным именем устроят на работу на каком-нибудь предприятии и т. д. Он даже рассказал мне о людях, которые будто бы жили такой жизнью. «И вам жилось бы совсем не плохо!»

В «одиночке» я часто дремала, когда не следила за положением солнца над горизонтом, не была больна и не коченела от холода и голода. Возможно, в это дремотное состояние меня приводили тюремные стены и своеобразные звуки, слышимые с разных сторон. И тогда я уже не могла различить — то ли вода шумит в трубах, то ли чешские заключенные вновь затянули свою горестно-унылую песню, одно незаметно переходило в другое. Однажды в одной из камер русская женщина напела мне песенку о сердечной боли и страсти. Там были такие слова: «Мое возьми ты сердце, а мне отдай свое!»

Мелодии были пронизаны глубокой, щемящей душу печалью. Казалось, что в них отражалась жалкая участь заключенных, в которой нет места радости, веселью и озорной улыбке. Они предостерегали, обвиняли и в то же время успокаивали. Для меня они были призывом к борьбе.

Я не знала, что сделают со мной — отправят в концлагерь или просто убьют. Я должна была подготовить себя к тяжелому, возможно, бессмысленному труду, который истощит меня до предела, к унижениям и мукам, голоду, жажде, холоду. Меня страшила мысль и о дальнейшем жалком прозябании в тюремной камере в «Лизль», где не было даже прогулок в тюремном дворе и где я, ослабев от голода, чувствовала себя усталой и истощенной. Как же я пе-

ренесу еще более трудные испытания? Чтобы выдержать, я должна была что-то предпринять.

В камере, размеры которой позволяли немного передвигаться, я по возможности занималась гимнастикой. Однажды свирепый надзиратель застал меня за этим занятием, рывком распахнув дверь, и сказал, что сделает все, чтобы меня из этой камеры вынесли «ногами вперед».

Около девяти месяцев я была полностью отрезана от внешнего мира. Не получала ни одной весточки и ничего не могла сообщить о себе. Я перестала воспринимать действительность. Друзья и товарищи считали меня давно погибшей, никто не знал, что происходит со мной в гестапо. Названия Биркенау, Освенцим мне ни о чем не говорили. Тогда я не знала, что существуют эти лагеря массового уничтожения людей и что Освенцим — построенный нацистами на территории Польши в 1940 г. самый большой лагерь массового уничтожения — состоял из трех концлагерей: центрального (Освенцим-1), Биркенау (Освенцим-2) и с 1942 г. — Моновиц (Освенцим-3), поставлявшего рабочую силу для заводов «ИГ Фарбениндустри».

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

Много лет спустя я спрашивала себя: как могло случиться, что я вынесла ужасы Освенцима? Сколько же товарищей по заключению должны были этому способствовать! Довольно часто помощь, оказанная мне, была на первый взгляд незначительной и незаметной, и многое с годами забылось. Но ведь в то время простое человеческое отношение было равносильно сопротивлению. О нем и после войны неохотно гово-

рили, частенько умалчивали, снижали его значение, чтобы те, кто в ту пору были сильными, выглядели еще сильнее, а слабые — еще слабее, чем были в действительности.

В начале лета 1943 г. меня отправили в концентрационный лагерь. В пути я познакомилась с группой женщин из Югославии. Кто знает, как пришлось бы мне в лагере, если бы не это случайное знакомство. После долгих-долгих месяцев я вновь оказалась среди политических заключенных. Языковых барьеров для нас не существовало, так как Штеффка Лорбек, товарищ из Марибора (город в Словении), в случае необходимости была переводчиком. Все они глубоко возмущались предательством бывшего австрийского товарища, переметнувшегося в гестапо.

С того дня, когда гитлеровские войска оккупировали их страну, многих ее граждан постигла трагическая, мученическая судьба. Каждая из этих югославок была полна страха за судьбу своих близких, хотя редко об этом говорила. Я обрела их полное доверие. Какое это было счастье!

Вопреки всему моя отправка в лагерь смерти протекала совсем не так, как представляло себе гестапо. Эта случайная встреча с югославскими партизанками позднее во многих экстремальных случаях поддерживала мой дух.

В ИЮНЕ СОРОК ТРЕТЬЕГО...

Очень многое из того, о чем здесь будет рассказано, могли поведать десятки тысяч других людей, если бы их об этом спросили, если бы они

захотели рассказать об этом, а главное — если бы они смогли все это вынести.

Прибытие в лагерь, регистрация вновь поступивших узников... Среди массы людей я чувствовала себя в полном одиночестве. Здесь я всего лишь подлежащий регистрации заключенный. Мысль о том, чтобы навести какие-либо справки, что-то узнать, — нереальна. Такова атмосфера этого учреждения: тебе разрешено дышать, но не более того. За этим неусыпно наблюдают часовые в эсэсовских мундирах.

У меня отобрали все, что было на мне, даже волосы остригли. На левое предплечье нанесли татуировку, гестаповский номер 46333 — мне бросились в глаза три тройки на конце.

После осмотра вновь прибывшим выдали какие-то лохмотья. «Где они набрали такое количество тряпья?» — удивленно подумала я. Выдавали его две болтливые девицы, отметившие, что я, по-видимому, еще очень молода. Разговаривали они так, словно меня и не было рядом, я была для них тенью, чем-то бесконечно далеким. «Дадим ей, пожалуй, вот это...» — сказала одна из них. Какая несчастная носила эти тряпки до меня, и почему ее больше нет?

Как потом стало известно, отобранные у заключенных тысячи тонн одежды, различных вещей и драгоценности были отправлены в рейх или использованы для нужд СС. Оставшаяся, самая негодная одежда предназначалась для прибывающих заключенных.

Любая попытка задать какой-либо вопрос заканчивалась неудачей. Но ведь хотелось знать, где я нахожусь и что меня ожидает. В ответ — глухое молчание.

Холодные, равнодушные взгляды, чувство, что ты от всего внешнего мира внутренне бесконечно далека, повергают в шок. Я подозревала, что могут существовать страшные учреждения, где людей превращают в живых мертвецов. Однако в болтовне лагерных приемщиц не только звучало что-то абсолютно чуждое и насстораживающее, в их словах ощущались предостережение и предупреждение, мне слышались чьи-то горестные жалобы. Но между нами была непреодолимая ледяная стена, вызвавшая во мне чувство тревоги, объяснить которую словами я не могла.

«С тобой все, проходи, быстрее...» Быстрее в эти лохмотья — сорочку и платье — и вон из барака, на территорию лагеря.

Навстречу мне идет молодая девушка. Наконец-то можно с кем-то поговорить. Она из Вены.

— А ты откуда? — спрашивает она. — Как сюда попала?

Узнав, что я из «Лизль», удивилась: «Значит, ты числишься за гестапо? И прошла прямо через ворота? Повезло... Хотя впрочем...» И она коротко объяснила мне, что отсюда для всех путь один — в газовые камеры... Теперь я точно знала, где нахожусь, верила каждому ее слову.

«Прошла прямо через ворота» — то есть миновала железнодорожную платформу, на которую высаживали доставленных в Освенцим заключенных. Случайно я оказалась избавленной от этого хитро инсценированного отбора. Дело в том, что доставленные в Освенцим железнодорожным транспортом в большинстве случаев уже на платформе подвергались первому отбору и распределению. Как потом я узнала, с

января 1942 г. в лагере производилось массовое уничтожение евреев и цыган, в ноябре 1944 г. оно было прекращено, палачи заметали следы. А еще раньше, в сентябре 1941 г., советских военнопленных уничтожали с помощью газа «циклон Б».

В общем, не имело значения, что послужило причиной моего ареста. Я здесь, и ждать мне нечего. Теперь я знала, с какой целью нацисты охотились за евреями. Молодые, если их можно было использовать на каких-либо работах, получали недолгую отсрочку. Но иногда прибывший транспорт заключенных целиком уничтожался. Таким образом, у нацистов отпадала надобность в устройстве различных гетто, центров распределения рабочей силы.

Моей новой знакомой из Вены я не задаю больше вопросов. Я оцепенела. Девушка тоже ни о чем не расспрашивала, она понимала, что о Вене я ничего не могу ей рассказать.

Я в лагере уничтожения. Пошатываясь, бродят здесь изможденные люди в жалких лохмотьях. Все вокруг вызывает чувство отвращения, везде очень грязно, все издает зловоние. Нет, это не сон, такой кошмар присниться не может. Почему оказались здесь эти жалкие создания? Непостижимо. Люди в лагере настолько истощены и разбиты, что на повеньких не обращают внимания. Они в отчаянном положении и бесконечно одиноки. Длительные страдания, голод, холод и болезни до неузнаваемости меняют человека, внешне он становится чужим самому себе. Нет питьевой воды, территория загрязнена, может вспыхнуть эпидемия. Как шелудивого пса, гонят тебя из так называемого клозета, где стоят длинные каменные

ящички с двумя рядами отверстий, из так называемой умывальной, где из проделанных в трубе дырочек текут тонкие струйки воды. Дать хорошего пинка — здесь обычное средство общения с заключенными: так сверхчеловек объясняется с недочеловеком.

Довольно скоро я услышала о многих жестокостях и издевательствах, которым в концлагерях подвергаются заключенные. «Причиной» неистовства может быть что угодно: неидеально заправленная койка или нарушение печально известного девиза: «Порядок и дисциплина». Это — от казармы и военной муштры. Так же как и требуемые абсолютная покорность и раболепие.

В женском лагере Биркенау-Освенцим высокопарные слова о соблюдении порядка и чистоты не имеют смысла. Они вступают в вопиющее противоречие с действительностью, и самой верной надписью на воротах лагеря явилась бы следующая: «Быстро работай, потом быстро в газовую камеру!» Здесь совершаются преступления чудовищных масштабов. Тяжелый труд, мучительный голод, издевательства, вши и клещи, грязь и гноящиеся раны, эпидемии ускоряют развязку и заметно помогают лагерному начальству в уничтожении людей. И не нужно искать повода для совершения самого дикого преступления, само существование лагеря — преступление. Писал же в своих мемуарах бывший комендант Освенцима Рудольф Хёсс: «Главное управление имперской безопасности доставляло узников в концлагеря с конечной целью их уничтожения. Не имело значения, как достигалась цель: скорыми экзекуциями, или в газовых камерах, или эпидемиями, выз-

ванными невыносимыми условиями лагерной жизни, которые начальство лагеря сознательно не меняло к лучшему».

Меня охватил жуткий страх. Не могу представить себе, что превращусь в безвестный скелет, что не покину лагерь живой, что здесь мне суждено окончить свой век. Не знаю, когда это произойдет — сегодня или завтра. Но многие мне говорят: «Ты должна примириться со своей судьбой».

Уверяют, попасть в женский лагерь Биркенау — последнее дело. Он известен как гигантская, хорошо продуманная система уничтожения, где узника сначала лишают сил, затем человеческого облика, затем уничтожают.

Здесь ты понимаешь, как невыносимо тяжело, когда неоткуда ждать поддержки, когда чувствуешь себя совершенно потерянной и каждую минуту ждешь смерти. Но и в концлагере, в этой эсэсовской преисподней, были заключенные, которые, как и другие, находясь в страшном положении, когда одичание распространяется подобно эпидемии, когда печаль и скорбь настолько глубоки, что от них невозможно уйти и нельзя их передать словами, являлись опорой и надеждой для товарищей по несчастью. Сколько их было, никто не может сказать.

В Биркенау исчезает внешний мир, путаются дни, числа и часы, пропадают люди. Калейдоскоп лиц, знакомые исчезают, а ты должна вопреки всему все это пережить. Нацисты хотят тебя уничтожить, а ты не должна позволить довести себя до одичания, дать разобщить с товарищами, изолировать от них. И всегда надо помнить, что нацисты не пройдут, битвы ведутся на многих полях сражений, существуют Со-

противление и партизаны даже в тех странах, где наци ведут себя так, словно им на тысячу лет уготована спокойная, уютная жизнь.

Здесь, в этом страшном болоте, желание дожить до победы над фашизмом придает жизни определенный смысл, хотя и не может утешить, ибо от ситуации тотальной агрессии замирает сердце. Кажется, что события развиваются мучительно медленно, а силы угасают с головокружительной быстротой. Верующие считают себя покинутыми богом. Одни думают, что он забыл заглянуть сюда, и взывают к нему о помощи, другие во всем хотят видеть испытание и наказание за грехи. Многие заключенные спрашивают, почему русские, англичане и американцы не спасут здесь то, что еще можно спасти, и не ликвидируют адскую машину уничтожения людей.

Но спасение узников на территории всего германского рейха и оккупированных им регионов было возможным лишь при условии победы союзников над гитлеровской Германией. От польских евреек я узнала, что Биркенау — только одно из многих предприятий, организованных для массового уничтожения людей. Но больше они и не знали, и не хотели говорить.

Лагерь для мужчин поставляли рабочую силу на промышленные предприятия. По дешевке продавался живой товар, который еще мог работать и способствовать победе убийц, принося прибыль магнатам военной промышленности. Из живых выжимали все силы, прибыль извлекалась даже из праха мертвых и сожженных тел.

4 октября 1943 г. Генрих Гиммлер, выступая в Познани перед высшими чинами СС, упо-

мянул о «трудностях», связанных с уничтожением евреев: «Большинство из вас знает, какое впечатление производят 100, 500 или 1000 трупов... Выдержка и порядочность сделали нас твердыми и непреклонными. Но эта славная страница нашей истории никогда не будет написана...»

В той замучепной Польше мне казалось иллюзией рассчитывать на проведение каких-либо акций сопротивления. Среди узников моего лагеря было много преданных своей родине полек, и я поняла — в этой стране нацистский террор был особенно жестоким. Говорят, француженки, сокрушенно покачивая головой, спрашивали, почему до сих пор не открыт второй фронт, который ускорил бы окончание войны.

Когда я слышу, как многие заключенные строят самые фантастические планы своего освобождения из этого фашистского ада, я задаю себе вопрос: неужели я так застыла в своем горе, что уже не способна помечтать о конце наших бедствий, победоносном окончании войны, уничтожении нацистского режима?

ОТПРАВЛЕНА В БИРКЕНАУ

...Ты должна сдаться, признать себя побежденной, ничего не желать, радоваться возможности прожить лишний час, в твоей душе должен жить постоянный страх, ты должна забыть всех своих друзей и товарищей! Именно этого добивались нацисты, насаждая террор.

Повседневно в лагере наблюдается страшная картина. Женщины строем, колоннами по пять

человек направляются в газовые камеры, где их ждет смерть. И ты могла быть среди них, одной из них. Как открытая рана, мучает вопрос: что сделала ты, чтобы этого не допустить, пыталась ли что-нибудь предпринять, вместе с другими что-то придумать? Только спокойно смотреть, и ничего не делать — так приходит окостенение и все в тебе угасает. Глаза больше не видят, они настороженно высматривают, не приближается ли с какой-нибудь стороны опасность? Смогу ли я от нее защититься?

Нам приходится иметь дело с заключенными, которым лагерная администрация поручает или заставляет выполнять определенные обязанности, например поддерживать порядок в бараках (блоках), какую-либо канцелярскую работу, которой всегда очень много в эсэсовской бюрократической машине.

А утренние и вечерние поверки! Ранним утром и вечером всех узников выстраивают на плацу, где они стоят неподвижно часами. Цель одна: подавить в людях остатки человеческого достоинства — внешне без применения насилия. А у нас остается одно-единственное желание — выстоять эти часы, минуты, секунды.

Идет переключка — так эсэсовцы на плацу осуществляют неусыпный надзор за заключенными. Мы же должны стоять, строго выпрямившись, от этого быстрее теряются последние силы, затрудняется общение друг с другом.

За едой, за питьем, этим отвратительным чаем, мы выстраиваемся в очередь. Многие считают именно его причиной участвовавших поносов. Предполагаем, что в чай подливают большое количество брома, из-за чего у нас отсутствуют менструации. Но если они и приходят, то как

справляться с ними в этих условиях? Многие женщины страдают здесь от болезни груди.

От длительного пребывания на солнце мое лицо горит и раздулось. Рядом со мной плачет женщина, она шепчет, что жалеет меня, но плачет она и о себе, и обо всех нас. Я едва могу пошевелить губами, слишком воспалено лицо. Может быть, стоит помыть лицо чаем, хотя бы глаза? Но у меня все внутри пересохло, и нет сил отказаться от питья.

В течение месяцев, проведенных в «Лизль», я ни разу не выходила на прогулку в тюремный двор и теперь слишком сильно реагирую на палящее солнце и ветер. А ту женщину я больше не видела плачущей, ни слезинки не было в ее глазах, ни смеха, неподвижное, застывшее, без всякого выражения лицо. Очень скоро она вообще исчезла.

Ночью люди часто кричат во сне. Сама я во время сна продолжаю работать с лопатой, как это делала в течение всего длинного дня. Марширую и марширую, потом снова берусь за лопату, но не в состоянии поднять тяжелую, липкую глинистую землю и во сне мучаюсь еще больше, чем днем, не могу пошевелинуть ногой, так тесно на наших нарах шириной немногим более полутора метров, где спят пять—девять заключенных, хотя должно быть только трое. Одна давит на другую. Одежда липкая от пота. Но я должна радоваться, что лежу на койке живая. С каждым днем слабею, все труднее двигаться. Но в сумерках приказывают встать на поверку, которая в наказание заключенным может быть продлена на любой срок.

Мы, команда заключенных, направляемся к месту работы. Идем в ногу, сейчас пройдем че-

рез ворота, и лагерь останется позади. Кем был хитрец, придумавший надпись на воротах «Работа делает свободным»? У входа в лагерь оркестр из заключенных задает такт марша: раз, два... Начальник команды, часовые и надсмотрщицы зорко следят за изголодавшимися людьми. Страшно. На мокрой от дождя дороге деревянные башмаки часто застревают в грязи, но потерять их нельзя — получишь град ударов. Вытаскивая башмак, ты уже не можешь идти в ногу и задерживаешь других. Тогда снова сыплются удары, ты до ужаса боишься оступиться и потерять обувь. Поэтому от весны до осени мы маршируем босиком с башмаками в руках. И когда снова надеваем их, верхний край башмака до крови стирает кожу ног. Узкими полосками, оторванными от рубашки (чулок у нас нет), я обвязываю натертые места, но раны вскоре начинают гноиться и редко заживают.

Мы слышали много историй о глазах, о том, как они смотрят. Оказывается, раб не имел права взглянуть на своего господина. Здесь я поняла, почему это происходит. Властелин боится глаз им униженного. Поэтому униженный должен приближаться к своему господину согбенным, дабы у того не возникло мысли, что перед ним тоже человек.

В Биркенау заключенные не могут «смотреть». Глаза имеют свой тайный язык. «Чего он выпучил глаза, этот отвратительный тип?» И — бац! — удар по лицу. Удар плетью, пинок ногой — и замученное людское стадо покорено. Бьющий предпочел бы, чтобы свет в глазах узников погас, но рабочая сила полностью сохранилась.

Для мучителей еле стоящий на ногах безымянный человек не имеет лица, для них это всего лишь движущиеся лохмотья, чучело, отвратительное и до того странное, что, глядя на него, они могут ухмыльнуться. Музыка у лагерных ворот им доставляет удовольствие, для заключенных она невыносима. Эта проклятая музыка как самодовольное хрюканье и насмешка над человеческим горем.

Обратный марш в лагерь смерти утомителен, мы с трудом волочим ноги, слишком устали, молчим. Постоянное ощущение тяжелого груза на плечах — огромной массы грязи и пыли, а сверху ноши пепел тех, кто больше не марширует с нами. Если нам встречаются колонны мужчин, множество истощенных заключенных, меня душит гнев: нас так много, и мы так бессильны! Удивительно, но, несмотря ни на что, мы маршируем.

При входе в лагерь опять звучит музыка. Сумасшествие! Оркестранты действительно стараются играть в темпе марша, но почему? Они должны были бы, наоборот, играть невпопад! Наша колонна призраков должна выглядеть так, словно мы выползли из глубины земли. Лево́й, лево́й, лево́й, раз, два, три... — проклятый такт страха. Но мы должны радоваться, что теперь нам приходится волочить только самих себя, говорит один из нас и рассказывает, что вначале, когда лагерь был организован, возвращающиеся с работы заключенные должны были на себе тащить тела товарищей, убитых за день.

Однажды нас водили на концерт. Оркестр исполнял шлягер «Там, на крыше мира, есть аиста гнездо...» — таков примерно был текст, меня же охватил леденящий душу страх. Нет, Биркенау

действительно представлял собой угнетающий душу сумасшедший дом. Рассказывали, что дирижер женского оркестра Альма Розе однажды спросила у коменданта лагеря, что ожидает девушек, играющих в оркестре и с трудом переносящих это страшное ожидание. Тот заверил: она может успокоить девушек, очередь оркестра наступит только «в самом конце».

Могу представить себе, что она в эту минуту подумала. Очевидно, «в самом конце» в газовые камеры будут отправлены все оркестранты вместе с их музыкальными инструментами...

Так называемый ночной покой — сплошной кошмарный сон. Однажды мне почудилось, я слышу пение птиц, а когда начала медленно просыпаться, старалась себе внушить, что находиться в Биркенау я никак не могла. Но потом сообразила, что это не пение птиц, а свист крыс.

Когда окончательно просыпаешься, становится жутко.

КРЫСЫ ЛЮБЯТ ПРОСТОР

И снова некоторых из нас переводят в другой блок. Откуда-то в лагерь поступает новая партия заключенных. Снова заполнены бараки, снова маршируют рабочие команды. Многие умирают от голода и истощения, еще больше от насильственной смерти.

На этот раз дело совсем плохо, мы должны лежать под нарами, для нас нигде не находится места. Думаем лишь о том, чтобы не испугнуть крыс. У них ведь тоже свои привычки, и здесь эти мерзкие существа имеют обыкновение свободно разгуливать. И кто это придумал — пере-

брасывать заключенных из одного барака в другой? Нам так трудно перебираться! Все же приходится освободить достаточно места для крыс, иначе они будут бегать по нашим головам. Оставляем свободными узкие проходы вдоль трех стен — крысам должно хватить, и, может быть, они оставят нас в покое. Слишком холодно, чтобы снять с себя что-либо из одежды, мы очень истощены, трудно сделать даже одно движение, вдобавок мы спим так крепко, что из-под головы спящего можно вытащить все, что угодно.

Ночью кричу во сне, чувствую себя совсем разбитой и даже плачу. Страшные крысы... Они как нацистская банда, у которой ты встала на пути.

А на подходе новые транспорты заключенных, и ты должна им освободить место, тебя ведь уже заклеямили.

По заслуживающей доверия послевоенной статистике, в Биркенау узники могли выдержать от трех до шести месяцев — сколько же их там побывало? В живых остались лишь немногие.

Наше положение усугубляли эпидемии. И надежды на то, что удастся дождаться окончательной победы над фашизмом, представлялись пустой мечтой. В Биркенау на нацистов работала вся сложившаяся в годы войны ситуация, делал свое страшное дело созданный ими отравляющий газ «циклон Б».

Ответственные по бараку или блоку определяли, кто из нас еще способен работать, а кто уже «готов» для отправки в газовую камеру. Совершенно обессиленных и мертвых заключенных укладывали штабелями вдоль длинных стен в бараках — печи крематория не могли

справиться с огромной нагрузкой. Комендант лагеря Рудольф Хёсс писал в своих мемуарах: «Если бы прибывающих в Освенцим заключенных сразу отправляли в газовые камеры, они были бы избавлены от многих мучений».

СТРАХ

В блоке, переполненном узниками, свирепствует эпидемия. Перед соседним бараком на тачке перегруженные нечистотами параши. Среди заключенных, до предела истощенных, тонких как тени, ходят разговоры, что в соседнем блоке холера, а может быть, тиф или дизентерия. Некоторые бараки заперты, людей не выпускают, газовые камеры и печи не справляются с такой массой людей. Где-то в дальней части лагеря идет строительство, якобы возводят новые блоки. Что может это означать? Только еще более быструю смерть, ведь наверняка будет построено еще больше крематориев и газовых камер.

Местность, на которой расположен лагерь, болотистая и топкая. Была ли она такой всегда, или это от невероятного количества нечистот? Говорят, что здесь неглубоко в земле похоронено множество солдат, погибших во время войны в жестоких боях, поэтому вода заражена. Но наверняка здесь должны покоиться не только эти жертвы войны, со дня основания лагеря эсэсовцы убили огромное число заключенных. Так или иначе, воду здесь пить нельзя.

Ночью раздаются беспорядочные вскрикивания и стоны, нередко мимо тебя скользят вышедшие на добычу тени. Хорошо, что я не снимаю обувь. Крики о помощи никому не помогут. А снаружи — ярко освещенная, находящаяся

под током ограда из колючей проволоки. Она враждебно оцетинилась, затаенно агрессивна, способна свести с ума, загипнотизировать...

Чтобы избавиться от гнетущего страха, многие бросаются к ней... и либо падают от пули часового, либо повисают на проволоке, убитые током высокого напряжения.

Начальство лагеря это устраивает — несколькими узниками меньше.

Я так не поступлю, ни сегодня, ни завтра, никогда. Но мне страшно в этой атмосфере постоянного страха, и, несмотря на страх, отчаянно хочется жить.

НА УБОРКЕ МУСОРА

Нас двенадцать. Вместе тащим большую, тяжелую телегу с мусором. Чего в ней только нет! Заплесневелая еда, что-то тухлое и гнилое, окровавленные бумажные повязки, остатки различных посылок, которые либо слишком долго были в пути, либо уже не застали в живых адресата. Некоторым заключенным дозволено получать посылки с едой — при условии, если имеется тот, кто может и кому разрешено такую посылку отправить.

Разбрасываем гниющий мусор. Выгребаем клоаки. Стоим погруженные в дымящиеся нечистоты. Только бы не задохнуться и не упасть — единственно, о чем я думаю. Начинает кружиться голова, все завертелось вокруг. У ног ползают белые сытые черви... Но я ничего не боюсь. Смотрю на женщин, работающих рядом, на их чахлые, изможденные лица. Вот-вот упадут. Но оставаться в лагерных бараках еще страшнее,

там сущий ад, еще повезло, что попали в мусорную команду. Многие заключенные от голода тяжело больны и к работе непригодны. У меня хоть какие-то силы еще есть.

Из всей нашей команды в двенадцать человек работают фактически двое или трое. Но даже если работаешь за двоих, соседки на это не реагируют, им уже все безразлично, настолько они измучены голодом, жаждой и отчаянием, ими целиком владеет страх.

Мы следим за тем, чтобы по возможности не дать надсмотрщице повода обрушить град ударов на этих полумертвых женщин. С точки зрения сытых эсэсовцев, все команды работают чересчур медленно, у них и надсмотрщиц всегда найдется причина, чтобы посвирепствовать и поорать на заключенных. Чтобы не слышать этих диких криков, мы все беремся за работу.

Невозможно предугадать, когда к тебе подбежит надсмотрщица, чтобы ударить. Я очень хорошо понимаю моих несчастных товарищей по упряжке, не желающих выполнять грязную, отвратительную работу. В них я вижу самое себя.

Мы лошади, мы везем телегу, которую впрокру бы тянуть двадцати крепким и здоровым людям. Но нас всего двенадцать слабых женщин, и мы должны ее тащить. И здесь есть «глупые», которые тянут, и «умные», только делающие вид, что работают. Бывает, что телега наша останавливается, и тогда надсмотрщицы приходят в бешенство и орут во всю глотку. Голоса у них невыносимо, до боли пронзительные, бьют они жестоко, видно поднаторели лихо забивать людей до смерти. Были моменты, когда я думала, что жить мне осталось считанные секунды.

Одна уголовница без всяких усилий отняла у заключенной понравившийся ей передник, который та выменяла у племянницы. Здесь родственники образуют порой нечто вроде клана, всячески пытаются помочь друг другу. Это опасно для жизни, но в лагере все связано со смертельным риском. Уголовники немецкой национальности обходились с другими заключенными по своему усмотрению, словно те были их личной собственностью, использовали их в своих корыстных целях, унижали, избивали, убивали.

Такое положение дел вполне устраивало лагерное начальство. Рудольф Хёсс назвал поведение уголовников по отношению к другим заключенным страшным и кровавым, признавая вместе с тем, что «без этого никакое, самое твердое руководство лагеря не могло бы держать в узде тысячи заключенных... Чем ожесточеннее были вражда и соперничество между различными группами заключенных и их борьба за осуществление своего влияния, тем легче было начальству держать весь лагерь в повиновении».

ХЛЕБ

Сколько весит хлеб? Там, где властвует голод, он весит не более снежинки. Некоторые заключенные проглатывали свой хлебный паек, почти не ощутив его тяжести в руках. Но другие подолгу его рассматривали, разжевывали каждую крошку, съедали маленький кусочек, а остальное прятали. И водились в лагере чертовски ловкие воровки. Ими были не только крысы,

хитрее их оказывались двуногие воровки, точно знавшие, кто оставил кусочек хлеба «на потом», «на завтра».

Они неслышно подкрадывались к до смерти усталым, заснувшим тяжелым сном заключенным и осторожно, умелыми, гибкими движениями вытаскивали спрятанный заветный кусочек. Их жертвы обнаруживали пропажу слишком поздно. Это продолжалось довольно длительное время и усугубляло состояние полного бессилия и беспомощности, нагнетая в то же время агрессивность.

Но над всем царствовал голод. Хлеб — это было все, сама жизнь.

Однажды во время короткого обеденного перерыва мы заговорили о пожилой женщине, у которой накануне ночью украли спрятанный ею на груди кусочек хлеба. Я спросила: что здесь, в лагере, может иметь большую ценность, чем кусок хлеба? Мы под надзором эсэсовцев, целиком в их власти, мы не должны жестоко относиться друг к другу, ускорять приближение собственной смерти. Мы должны узнать, кто из заключенных это сделал, чтобы помешать ему лишиться самых слабых их куска хлеба. Ведь у женщины, которую обокрали, не было ни на грамм хлеба больше, чем у той, которая ее обворовала. Я была глубоко возмущена и потрясена тем, что люди способны на такую жестокость.

Однако со мной не согласилась дочь раввина, тащившая вместе с нами телегу с мусором. Она была коротко острижена, как, впрочем, и все мы, в таких же лохмотьях, внешне выглядела, как любая из заключенных, и, только взглядевшись повнимательнее, поражает тонким и прекрасным чертам ее лица, всем полным до-

стойнства ее обликом. Оказывается, и в этих страшных обстоятельствах женщина может быть привлекательной.

Эта красивая женщина с миндалевидными глазами не согласилась со мной. По ее мнению, на такие вещи следует смотреть по-другому. Заметив, что я понимаю язык идиш, она рассказала, почему думает иначе.

«Я дочь раввина, росла и воспитывалась в прекрасных условиях, отец и мать меня баловали, муж носил на руках. Если я говорила, что небо не голубое, а зеленое, он соглашался: небо действительно зеленое. До такой степени жаждал удовлетворить каждое мое желание. Был у нас горячо любимый ребенок. Если бы кто-нибудь мне сказал: твое дитя умрет, а ты будешь продолжать жить, я бы выцарапала ему глаза. Я была убеждена: если вдруг случится так, что мой ребенок умрет, я покончу с собой...

Но все оказалось по-другому. Меня привезли сюда, тут же отобрали ребенка и швырнули его в грузовик, я бросилась за ним, дралась за него... И вот теперь я здесь, а мое дитя больше не существует. Как же вообще может быть, что я продолжаю жить? Но если такое возможно, это означает, что жизнь — насилие, которое сильнее меня. Я живу и должна работать «на них»... Но если я в состоянии это делать, значит, жизнь представляет собой такую форму насилия, в которой человек оказывается способным отнять у другого кусок хлеба, чтобы жить. И если я еще хочу жить, то как могу я осуждать другую, тоже желающую жить?..»

В знак согласия заключенные молча кивали головой. Дочь раввина сказала, как бы подводя итог: «Когда я вижу все, что здесь происходит,

то не могу судить, справедливо или несправедливо поступил тот или иной заключенный...»

Она уже не была целиком *здесь*, и еще не была полностью *там*, как выражались в Биркенау, она, как и многие другие, плохо держалась на ногах, и все было ей безразлично. Событие с украденным кусочком хлеба не могло отвлечь ее от собственного огромного горя, щемящего душу самообвинения: почему она не смогла предотвратить все то ужасное, что произошло на железнодорожной платформе перед входом в лагерь с ней, с ее ребенком, с ее семьей?

Все молчали. Не слышно ни звука. Словно к сказанному нечего добавить. О том, что нас волновало, мы заговорили впервые, но разговор неожиданно оборвался. Женщины ощущали на себе тяжкий груз вины, хотя, казалось, ни в чем не виноваты, их самые любимые и близкие находились уже *там*, а сами они *здесь*, среди еще живущих. Их жизнь теряла смысл.

Многих это сломило раньше того, как они действительно были сломлены.

ВНУТРИ И СНАРУЖИ

Не всех заключенных постигала одинаково страшная судьба. Одни сразу попадали в газовые камеры, других ожидала иная участь. В связи с этим возникают вопросы, имеющие значение не только для лагеря Освенцим-Биркенау.

Большинство заключенных, которым по разным причинам не угрожала немедленная смерть, очень скоро свыклись с ужасными условиями существования, принимая их как нечто

естественное. И это обстоятельство, тоже являющееся следствием сложившейся трагической ситуации, могло оказывать определенное влияние на тех заключенных, которые были поставлены по сравнению со всей массой узников в несколько лучшее положение, потому что выполняли поручения начальства, хотя, как и другие, находились в полной власти своих тюремщиков.

Когда речь идет о шансе выжить или хотя бы продлить жизнь, человек легко может потерять голову. А если он молод, ему трудно представить себе, что скоро умрет. В концлагере под сенью злодейства и агрессивности «третьего рейха» постоянно самыми жестокими способами насаждались и поддерживались противопоставление и вражда отдельных групп заключенных. Третирование самых жалких узников еще более отравляло пребывание в Биркенау. Ибо мы видели, что есть среди нас те, кто готов обслуживать эсэсовцев, лишь бы самому не надрываться на работе, не подцепить болезнь — в общем, устроить себе жизнь полегче. А надзирательницы, вымещавшие на заключенных свою бешеную злобу, мучившие и безжалостно нас обкрадывавшие... А злобные, агрессивные уголовники... Страшно. На помощь мог прийти сознательный политический или даже не политический заключенный, если при благоприятных обстоятельствах он был в состоянии хоть немного облегчить участь своего товарища.

Я вправе говорить об этом, ибо все испытала на собственном опыте.

Некоторые заключенные, выполняющие по приказу лагерного начальства какие-либо задания, определяли, кто из заключенных еще мо-

жет работать и, следовательно, получить отсрочку, кого направить в санчасть, откуда, как правило, не возвращаются — подумаешь, потеря: несколькими заключенными меньше, ведь очень скоро их место займут вновь прибывшие узники.

Лагерные функционеры порой определяли также, в какие именно команды должны быть направлены те или иные заключенные, что для многих было вопросом жизни и смерти...

В концлагере Биркенау прочно укоренилось на первый взгляд необычное явление — «черный рынок», на котором можно было многое достать. Это давало возможность эсэсовцам приобретать ценные вещи и, хуже того, создавало среди заключенных разлагающую духовную атмосферу, что вполне соответствовало планам лагерного начальства. Многих заключенных это приводило в отчаяние.

По моим наблюдениям, в лагере имелось несколько национальных групп, стремившихся помочь заключенным выжить, и между отдельными такими группами существовал определенный контакт, правда в весьма узких границах.

Однажды мы узнали о чрезвычайном событии — неудачном побеге заключенной из Бельгии, еврейки по национальности. После того как ее схватили, было объявлено, что ее повесят, причем казнь будет совершена публично. Но несчастной удалось перерезать себе артерии (кто-то сумел подбросить ей осколок стекла). Я думаю, ее бегство подтверждало наличие контактов между группами Сопротивления в лагере и польскими партизанами.

Когда, бывало, в свободную минуту мы просматривали одежду и белье, очищая их от насе-

комых, кто-нибудь сообщал, «что говорят в лагере». Среди вновь прибывших в лагерь могли быть лица, поддерживавшие отношения с заключенными-мужчинами, выполнявшими в женском лагере какие-либо технические работы, а эти люди должны знать, что делается на воле. И хотя информация порой оказывалась весьма скудной, для меня она была всегда ценной.

Странная смесь: с одной стороны, погоня за куском хлеба, а с другой — стремление небольшой кучки заключенных к приобретению ценных вещей — это приводило в смятение. Например, одна из заключенных, старшая по блоку, во что бы то ни стало хотела раздобыть светлоголубую комбинацию, она слышала, что у прибывших с последним транспортом из Франции имеется тонкое, красивое белье. Здесь, в обстановке издевательств, голода, грязи, нечистот и эпидемий, ее прихоть выглядела дико и чудовищно.

Для того чтобы заполучить красивую комбинацию, старшей по блоку надо было иметь в запасе хлеб, маргарин и другие продукты. Она накапливала их за счет рациона, предназначенного для всего блока. Я замечала, конечно, подозрительную легковесность наших пайков и возмущалась.

Потребности заключенных, находившихся в относительно лучших условиях, со временем росли, но и предложений было много. Процесс этот, возможно, стимулировался тем, что находились мы в настоящем аду. Здесь легко утрачивался самоконтроль, самые жалкие и беспомощные превращались в массу одиноких и полностью беззащитных жертв, неспособных к со-

лидарности и объединению. Тот, кто пытался противостоять сложившейся в лагере иерархической структуре, должен быть готовым дорого за это заплатить, лагерное начальство зорко за всем следило...

Заклученные-функционеры порой находили возможность помочь своим товарищам. Антифашистки стремились создать нечто вроде групп единомышленников. Родственники и друзья пытались утешить друг друга. У меня сложилось впечатление, что женщины из Югославии хотели создать собственную сеть, чтобы облегчить участь своих товарищей.

Однако каждый заключенный, желающий помочь другому, нес за это личную ответственность и подвергал себя огромной опасности, если об этом узнавало начальство. Но заключенных это не останавливало. Для словенков, сражавшихся на воле в рядах партизан, солидарность была делом само собой разумеющимся. В то же время общие условия жизни в Биркенау были настолько бесчеловечными и развращающими души людей, что мы не могли себе представить, что здесь может быть создана организация, способная оказать сопротивление лагерному начальству...

Лагерная обстановка наглядно и жестоко нам доказывала: в лагере смерти начальство может делать все, что ему вздумается. Заключенных мучают и убивают, и никто ни за кого заступаться не должен.

Кошмары, царившие внутри лагеря, были аналогичны преступлениям, которые совершали нацисты за пределами лагеря. И невольно возникал вопрос, не дававший покоя: должны ли были события развиваться именно так, как они

развивались, не могло ли все совершаться совсем по-другому?

Думаю, что подобный вопрос люди будут задавать всегда.

ОХОТА ЗА ЛЮДЬМИ

Вторжение нацистов в чужие страны сопровождалось массовыми арестами людей. В лагерь прибывали новые транспорты, и мы слышали вокруг разноязычную речь. В славянских языках я не очень хорошо разбираюсь и составила для себя довольно причудливую смесь из них. О нидерландском имела смутное представление, объясняться на нем не могла. В Биркенау все угасало, в том числе и когда-то приобретенное знание языков.

Некоторые голландки сами искали смерти, якобы пытались бежать, их рвали на куски собаки, расстреливали на месте эсэсовцы. Можно было услышать, как скучающие на посту часовые громко переговаривались: «Помнишь ту голландку..?» — «Ну да, ее, идиотку, тут же и подстрелили...»

Прибыли французенки, и мы получили известия с воли, подтвердившие, что нацисты идут навстречу собственной гибели. Намного позднее стали поступать заключенные из Венгрии, их все чаще сразу с железнодорожной платформы отправляли на смерть. Казалось, транспортам никогда не будет конца. Из нескольких крупных партий заключенных в живых остались лишь немногие, а в целом от большого количества транспортов через некоторое время не оставалось и следа.

«Колеса должны вращаться для победы» — этот нацистский лозунг имел для заключенных совсем иной смысл. Десятки тысяч колес вращались для того, чтобы увезти несчастных в наглухо запертых вагонах для перевозки скота в небытие.

Зловоние и смрад от сгоревших мяса и волос, высокие факелы и дым работающих печей доводили заключенных до безумия, они затравленно спрашивали себя: когда наступит их черед, сегодня, может быть, завтра придет их последний день? Невозможно без содрогания слушать стоны и вопли женщин и детей. В лагерь прибывало все большее количество транспортов, и начальство распорядилось сжигать трупы узников в открытых могилах.

Некоторые уголовницы, немки по национальности, причисляя себя к расе господ, считали, что их по ошибке бросили в лагерь, и ждали от эсэсовских надзирательниц ответа на вопрос о своей судьбе, надеясь на освобождение. Их уверяли, что обязательно освободят — перед тем как уничтожат весь лагерь Биркенау.

Такова была обстановка в лагере: масса заключенных влачила жалкое существование, зная, что скоро настанет их последний час, а некоторые были уверены, что не для них уготованы газовые камеры. Это успокаивало многих представителей «расы господ», даже льстило. В самом деле, как могла прийти в голову мысль, что «те, другие» — такие же люди, как они, если установленными правилами утверждалось обратное.

Многие уголовники были переброшены в Освенцим из других лагерей — Заксенхаузена, Равенсбрюка... Лагерное начальство обещало им

в Освенциме «райскую жизнь»: мол, работать там не придется, их будут обслуживать еврейки и т. д. В Освенциме их ждало горькое разочарование. Многие из них хотели нам мстить. Они считали, что им должны быть созданы особые условия, спокойные и удобные. Мы были для них «другие»... А мы, оказавшись в дьявольском котле Биркенау, каждый день ждали, что нас отправят в газовую камеру...

Вот надсмотрщицы отдают приказы, не отдают, а орут. Ты должна заставить себя не реагировать на их крики, что требует большой затраты сил. Тебя торопят, подгоняют всегда и во всем: обязана быстрее стать в строй, быстрее освободить кому-то дорогу, еще быстрее подбежать на зов, быстро маршировать. Еще быстрее нас втаптывают в грязь. Пинки и удары сыплются со всех сторон. Так нацисты обеспечивают себе «надлежащее жизненное пространство». Мы для них такая же помеха, какой являются для агрессоров народы, подвергшиеся нападению с их стороны, — нам, как и им, разрешается лишь дышать в той мере, в какой нужно фашистским агрессорам, в противном случае одна дорога — в огонь и дым...

Что предпочтительнее — побои или газовые камеры? Конечно, побои. Но ты не можешь выбирать, здесь царство тотального фашизма: все уничтожающий порядок, или упорядоченное и хорошо организованное предприятие по массовому уничтожению людей.

Новенькие не в состоянии этого понять. Им спешат объяснить, что их ожидает, однако многие не верят: «Этого не может быть!» Не желают признавать страшную действительность. Они все еще полны воспоминаниями о доме и семье,

и все, что за пределами этого, кажется им чужим и опасным. Разлука с семьей лишает их сил. Польские еврейки часто реагируют иначе, они весьма много знают о преследованиях евреев нацистами.

Кто может воспрепятствовать тому, что всю массу прибывающих людей бесследно поглотит Освенцим-Биркенау? Одна заключенная, немка по национальности, не понимает, как такое может происходить в Биркенау, и искренне полагает, что если и может, то только на польской земле и никогда в Германии. Гитлер наверняка ничего об этом не знает! Все это она — в 1943 году — считает невозможным. Эта женщина не хочет поддаваться охватившему ее ужасу — главным образом потому, что он коснулся ее лично. Объяснять все тем, что идет война? Но ведь и война — не естественное явление природы, ее организовали, развязали... Но об этом заключенная говорить не желает...

Набирает силу сыпной тиф, захватил он и начальство лагеря. Что предпримет оно теперь? Не лицемерит, не притворяется, а убыстряет темпы работы газовых камер. На этот способ массового уничтожения нацисты возлагали особые надежды. Комендант Освенцима Рудольф Хёсс писал: «Откровенно говоря, перспектива использования газовых камер подействовала на меня успокаивающе, ведь в недалеком будущем предстояло массовое уничтожение евреев, но ни мне, ни Эйхману еще не было ясно, как можно будет его осуществить... Теперь я спокоен: есть способ помимо массовых расстрелов...»

Нацисты строили лагеря смерти на территории Польши, рассчитывая на то, что там им не

будет грозить разоблачение и они смогут безнаказанно свирепствовать, уничтожая людей.

Польские фашисты не предвидели таких злодейских акций против их страны. План нацистов был прост и однозначен: Польша должна принадлежать немецким колонистам, а поляки, если подчинятся новому порядку, смогут существовать в качестве дешевой рабочей силы, обслуживающей расу господ, и не более того. Все польское генерал-губернаторство рассматривалось нацистами как обширное охотничье угодье, где охотятся, однако, не на диких животных, а за людьми. Гестапо была предоставлена полная свобода действий — не случайно в Польше много гетто и несколько лагерей массового уничтожения...

Ты враг, ты неполноценный, тебя преследует и насилует нацистский режим, он расслабляет, делает уступчивым и стоворчивым, для него ты вещь, которую он использует и потом за негодностью выбрасывает, ты подопытный кролик, клоун, предмет потехи, рабочая лошадь. От сознания бессилия что-либо изменить хочется завывать волком. Но выть ты не можешь, иначе умрешь от горя. От него можно задохнуться. Безысходность рождает вопросы: как можно с этим примириться и как долго будут мириться люди с чудовищным насилием и злодейством? Однако каждому заключенному нацисты как бы предъявляли ультиматум: служи мне так, как я хочу, и ты будешь жить на день, на два дольше, даже лучше, чем другие.

Многие, в том числе и я, обязаны жизнью товарищеским отношениям, солидарности, понимаемым как часть борьбы против гитлеровского

фашизма. Отвратить смерть от другого, помочь сохранить ему жизнь, помочь в беде — закон солидарности. Ты помогаешь себе и ближнему уже тем, что вы встретились и разговариваете. Вы оба знаете, что не можете спасти друг друга, но все же можете быть чем-то полезны. Итак, поговорим, будем задавать один другому вопросы, ведь мир еще существует, не правда ли, хотя здесь полагают, что весь он будет поработщен нацистами и его уже ничто не спасет.

В нашем блоке были две сестры, они как одно целое, всегда неразлучны. Сюда их пригнали из польского провинциального городка. Их спокойствие и доброта благотворно действовали на окружающих. Встречаясь, мы беседовали, но наши вопросы, увы, оставались без ответа. Сестры располагали к себе, и я была уверена, что на них можно положиться. Вскоре мы потеряли друг друга. Постоянные расставания, исчезновения людей, к которым ты уже как-то привыкла, нагнетали страх. Не прекращался акт жестокого насилия против узников концлагеря, способствующий их одичанию.

Я было примирилась с тем, что не встретила в лагере ни одного из своих товарищей или старых знакомых. Такая встреча оказалась бы простой случайностью, но можно было бы попытаться что-то узнать, однако как, через кого? Переброска из Франции в Вену, изоляция в «Лизль» оборвали все связи.

И вот я встретила Штеффку Лорбек из Марибора, заключенную номер 46316, с которой познакомилась в транспорте, когда нас перевозили из Вены в Освенцим.

Мы отнеслись друг к другу как старые знакомые, разговаривали по-немецки, спорили о

политике, и в центре споров был мир ее политической борьбы, он касался преимущественно женщин из Югославии, прибывающих в Освенцим. От них мы узнавали новости. Не имело значения, насколько они действительно новые и соответствуют действительности, мы были твердо убеждены в том, что фашизм потерпит поражение. Естественно, мы исходили из того, что движение Сопротивления, в первую очередь в Австрии и Германии, ускорит падение гитлеровского фашизма. Уже одно то, что эти по-боевому настроенные женщины составляли прочный коллектив убежденных единомышленников, вселяло в меня уверенность: и на ядовитой почве Биркенау возможна дружба.

Среди моих югославских знакомых была крестьянка из Словении, с которой мне не раз довелось беседовать. Выглядела она сильной и стойкой, и я подумала, что такие женщины, как она, пожалуй, лучше смогут перенести тяжелые условия концлагерной жизни, чем горожане. «Почему фашисты так жестоки, какая им от этого выгода?» — спрашивала она. Она могла принять как неизбежные стихийные явления природы, например ураганы и наводнения, несущие с собой огромные разрушения, но как понять людей, опустошающих целые страны, сжигающих дома и селения, уничтожающих людей? Этого понять она не могла. Нацисты угнали ее семью, где-то в лагере томился ее муж, где-то ее сыновья, а она здесь. О своей семье она спокойно говорить не могла, поэтому вспоминала о своем поле, домашних животных, беспокоилась, как они там без нее, не придет ли в упадок ее хозяйство. Я ни разу не решилась сказать ей, что там наверняка уже поселились чужие люди,

мечтавшие прибрать к рукам процветающее хозяйство. Наци называли это не грабежом и разбоем, а «передачей имущества другому владельцу».

Словенка заболела сыпным тифом, и, как ни старались товарищи, спасти ее не удалось. Израненное сердце не выдержало и не смогло оказать сопротивления болезни.

Смерть от крайнего истощения, тихий уход в потусторонний мир стали повседневным явлением. И тем не менее это каждый раз вновь вызывало страх.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЛИ СМЕРТЬ

Пережившие ужасы концлагеря были обычными людьми — не сверхумными или стойкими, не сверххорошими или плохими, не сверххитрыми или глупыми. Среди оставшихся в живых заключенных были и умные и глупые, и злые и добрые. И все же есть основания спросить себя, не были ли лучшими из них те, кто погиб в лагерном аду.

Освенцим-Биркенау ужасает миром человеческих страданий и горя. Пытаешься как-то оградиться от этого впечатления, быть менее уязвимой, но при этом можешь очень скоро потерять самое себя как личность. Ты здесь как бы среди обломков того, что было некогда людьми. В таких условиях создать атмосферу коллектива, общности людей представляет большую сложность, и от этого положение становится еще более угрожающим. Проявлять волю к сопротивлению крайне тяжело и кажется делом бес-

перспективным, приводящим только к еще большему истощению.

Но это не так. Воля удерживает тебя в жизни.

В обстановке ежедневно совершаемых убийств женщины погрузились в отчаянное, безысходное положение и в нем себя окончательно похоронили. Одна из них называла себя миссионеркой, по ее словам, муж — немецкий офицер и ее дочери остались дома, интернировали ее одну, но она не объяснила, почему так случилось. Поэтому я полагаю, что причиной могли послужить ее активная религиозность, не чисто арийское происхождение, что неприемлемо для жены офицера германской армии. Она часто молилась и потом молча сидела, погруженная в свои мысли.

Однажды я подарила ей маленький образок — овальной формы серебристый кусочек металла, случайно обнаруженный мною в куче мусора (тогда я работала в команде мусорщиков). Миссионерка была совершенно счастлива и крепко зажала его в руке. Позднее мне удалось найти и отдать ей еще один образок. Тогда она совсем расчувствовалась и собиралась рассказать о своей семье, но тут же оборвала разговор. Она была уверена, мои действия направляла рука божья, и я переживу все беды и невзгоды. Многим это непонятно, утверждала она, но это именно так, бог видит, что не все веруют в него и возносят молитвы, но он по своему усмотрению простирает над людьми свою длань...

Меня она не смогла в этом убедить и была опечалена. Я же говорила о том, чего жду на земле, о надеждах совсем иного плана. Она назвала мне имена своих детей, чтобы впоследст-

вии я могла их навестить и поведать о постигшей ее судьбе.

Мне довелось часто беседовать с одной немкой, по профессии фармацевтом. Я не понимала, почему ее не использовали для работы в санчасти. Вообще, трудно было понять, почему в Биркенау что-то происходило именно так, а не иначе. Фармацевт постоянно требовала все большего порядка вокруг. Меня ее требования смешили, дело было отнюдь не в отсутствии гигиены и порядка, это требование служило лишь ширмой, чтобы не так бросались в глаза факелы крематориев. Я вызвала в ней испуг, когда дала понять, что вся созданная в концлагере обстановка полностью соответствовала злодейским планам гестапо и, естественно, находишься мы, заключенные, в другом физическом состоянии, сила нашего сопротивления в огромной степени возросла бы. И если бы позднее словенки не помогли перевести меня в команду в Райско (об этом я еще расскажу), я не выдержала бы марша смерти в январе сорок пятого...

Я и фармацевт искали встречи друг с другом, но скоро она исчезла. Это было мучительно.

Невозможно было задержать физическое разрушение человеческого организма. Напоминающие призраков люди бродили по лагерю, работали, голодали, были полны страха. Спина не выпрямляется, всегда согнута. Участь того, кто не в состоянии сам передвигаться, предрешена. И когда кто-то, вспоминая, спрашивает: «Что-то не видно Ганны?..» — он, не ожидая ответа, понимает, что именно произошло.

С поступлением каждой новой партии заключенных жадно ждем сообщений о происходящем в мире и строим предположения, как это

повлияет на положение Освенцима. Но здесь ничего не меняется, словно рассчитано на вечные времена. Постоянно говорят о Гитлере и соучастниках его преступлений. Никогда еще с именем одного человека не было связано такое упоение победой и уничтожение всего живого. Мечтаю о дне, когда до нас дойдут сообщения о крушении гитлеровской армии. Тогда миллионы людей прозреют, изменится положение к лучшему и в нашем лагере.

Однажды Штеффка заявила, что мне следует попытаться заняться обменными делами. Я очень ослабела, начинают сдавать нервы. Она сунула мне кусочек хлеба, который я обменяла на сигареты. Сама я работала в команде, где ничего подобного организовать нельзя. Одна заключенная, такая же голодная, как и другие, предложила за сигареты свой хлебный паек. Я отдала ей курево, отказавшись от хлеба. Но как же вернуть Штеффке ее хлеб? Оказывается, та и слышать не хочет об этом и не думала, будто я включусь в торговые операции.

Поздняя осень 1943 г. Впечатление такое, что на лагерь надвигается смерть. Все большее число заключенных отправляют в санчасть, откуда они не возвращаются. Очень многие болеют лихорадкой, у них серые лица, глаза сверкают либо выпучены, черты лица искажены, многих знакомых уже не узнать. Страшно заболеть тифом, дизентерией. Замучили вши и клещи. Люди на нарах так часто меняются, что почти постоянно я нахожусь среди совершенно незнакомых лиц. Едва успеешь с кем-нибудь хоть немного сблизиться и рада, что обрела хорошую соседку, как ее уже нет. Нас разлучают голодная смерть и многочисленные эпидемии.

Постоянно пытаюсь контролировать свое поведение. Санчасть — это станция на пути к смерти. Да, здесь имеются различные станции. Меня доконают поносы, я совсем ослабела. Снова ходят слухи об отборе, об уничтожении в короткие сроки все большего числа жертв — не окажусь ли я среди них?..

Иногда ловлю себя на том, что хочу съесть выброшенную заплесневелую корку хлеба. Это значит, я утратила самоконтроль, мне становится тяжело на душе, и я отбрасываю этот кусочек прочь. Опасаюсь душевного смятения, которое наблюдаю у других. Прежде я полагала, что у меня против нынешних зол выработался иммунитет, ведь уже два с половиной года я в заключении, позади допросы в гестапо, испытаны голод и страх (правда, на протяжении первого года совсем в иной форме). (Удивительно, но свирепствующие вокруг тиф и малярия как бы щадили меня.) Теперь, однако, замечаю, что-то во мне прорвалось: я впервые замахнулась на человека и ударила его. Было это так.

Лежащая рядом со мной на нарах женщина сказала какой-то заключенной: «Проходи, тут нет свободного места». Несчастливая в поисках места уже долго бродила по барaku. Я дремала, но тут же проснулась, решив, что надо подвинуться.

«У нее чесотка», — продолжала лежащая рядом. Это было уж чересчур, мне было все равно, больна ли эта женщина чесоткой, я больше не владела собой. Между мной и соседкой вспыхнула ссора, и когда тщетно искавшая пристанища вновь приблизилась к нам, я сказала ей: «Мы освободим для тебя место». — «Ты — возможно, я не собираюсь», — проворчала соседка.

«Куда же ей деваться?» — спросила я. «Меня это не касается». Тогда я ударила ее. Она чуть подвинулась, каждая из наших соседок по нарам сделала такое же движение, и ищущая место устроилась рядом со мной у стены. Если бы все женщины не потеснились, сделать ей это, конечно, не удалось бы.

Вот почему неверно думать, что у заключенных концлагеря не было чувства товарищества... Нечеловеческие условия существования и тотальный террор на всех накладывали отпечаток. Жизнь узников постоянно старались сделать как можно невыносимее.

Р. Хёсс писал в своих мемуарах, что «женский лагерь Биркенау представлял собой сущий ад, где после распада психики заключенного следовало его физическое уничтожение».

Лишение узников человеческого достоинства и доведение их до состояния полного одиночия успешно помогало в осуществлении нацистских планов. Поэтому так яростно преследовалось и жестоко наказывалось любое проявление товарищеского отношения друг к другу и солидарности. Многие за это поплатились жизнью.

Однако эффективная самозащита возможна лишь тогда, когда солидарность пробивает себе путь.

ГРЕЧАНКИ

С марта сорок второго по август сорок четвертого в лагерь прибыло около 13 тысяч заключенных из Греции. К августу сорок четвертого из них осталось в живых около 1800 человек.

Группа гречанок работала в команде мелиораторов. Стоя по колени в воде, мы строили ка-

нал. Кто знает, как долго везли этих девушек в тюремных вагонах, пока они не попали в лагерь массового уничтожения. Выглядели они совсем детьми, больные, страдающие от голода и жажды, полубезумные от чувства полной безысходности. Рылись в мусорных ямах, все мало-мальски напоминающее еду запихивали в рот, воду пили из отравленных луж, и никто из нас не мог уговорить их этого не делать.

Тем не менее я не прекращала попыток их как-то образумить. Однажды они недоверчиво спросили, где бы им раздобыть еду и воду для питья? Но помочь я ничем не могла и, по всей видимости, только растревожила их, они совсем отказывались меня понимать. Они говорили на ломаном испанском языке, на котором говорили евреи, изгнанные в свое время из Испании, и я со своим слабым знанием испанского могла кое-как с ними объясняться. Возможно, это на какое-то время смягчило впечатление от окружающей их агрессивной отчужденности, приказов и команд.

Их предки спаслись от инквизиции, а дети их детей попали сюда, на конечную станцию, откуда обратной дороги нет, все пути отрезаны.

Вытаскивать из ям с водой огромные комья глины и перебрасывать их через откос дамбы было очень тяжело. Нам необходима передышка. Но вместо этого нас без конца подгоняли, требовали работать еще быстрее, угрожали автоматом. «Противно смотреть на такую работу,— орал эсэсовец,— однажды я вот этим прикладом привел в чувство семьдесят, да, да, семьдесят таких бездельников, как вы, можете еще

радоваться, что с вами я не расправился так, как вы этого заслуживаете!»

К любым издевательствам над заключенными здесь относились не только терпимо, но их всячески поощряли. У нацистов была неограниченная возможность творить самые чудовищные преступления.

Мы тащили огромные плиты и укладывали ими поверхность дамбы. На этой безумно тяжелой работе все очень скоро выдохлись, гречанки же не могли двинуться с места. Они уставали быстрее других заключенных.

Как-то раз гречанки рассказали мне, что на их родине в горах действуют партизаны, их много и они храбро сражаются, но как долго может все это продолжаться?

Их рассказ был для меня крайне важен, он придавал силы, я жадно впитывала каждое слово. Позднее, когда я лежала больная и казался близким конец, я в горячечном бреду что-то кричала о партизанах, сражающихся в горах Греции. Изо всех сил я цеплялась за жизнь. А наяву одна из жестоких надсмотрщиц очень хотела, чтобы я стала ее помощницей. Очевидно, она заметила, что я могу объясняться с гречанками, и пожелала взять меня к себе: я, мол, скорее заставлю их лучше работать, а самой мне работать не придется.

Так... Мало того, что я ничем не могу гречанкам помочь и хоть немного уменьшить их страдания от унижений и голода, мне еще предлагается стать помощницей этой отвратительной женщины! Я страстно желала дожить до дня победы над фашизмом, но не любой ценой — убийцей я не стану. Одна из заключенных убеждала меня не упускать такой шанс, ведь, в кон-

це концов, заключенные должны работать и везде что-то создавать.

Ее слова меня озадачили. Не только потому, что они говорили о политической незрелости. Но она сказала «создавать». Еще ни разу не слышала я этого слова применительно к здешней ситуации.

«Как ты можешь говорить о созидательном труде? — спросила я ее. — Нас заставляют работать под угрозой смерти, голода, истязаний, и кощунственно говорить о каком-то созидании». «Но такова жизнь, — пыталась убедить меня моя собеседница, — должен быть порядок, и все должны работать».

«Но если заключенные должны работать, их надо кормить, — возражала я. — А ведь этого нет. Взгляни вокруг. Гречанки в жутком состоянии, да и мы скоро будем в таком же, а что касается порядка, то его здесь нет и в помине. Там, где властвуют нацисты, его быть не может. Неужели ты до сих пор этого не поняла?»

Я была потрясена. Конечно, эта заключенная была сбита с толку. Да, помочь гречанкам я не могла. Но превратиться в помощницу надсмотрщицы означало бы отказаться от самой себя. Я всегда была уверена, что *потом* наступит, и очень хотела до него дожить, но дожить с тяжким грузом на душе — нет, такое я считала для себя невозможным.

В те дни перевестись из одной команды в другую не составляло особого труда. Уже на завтра я незаметно ушла, не опасаясь, что надсмотрщица обратит на это внимание. Хорошо, что о ее намерении сделать меня своей помощницей и о моем бегстве не узнали эсэсовцы, иначе бы мне несдобровать.

ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

Идет отбор заключенных, и в лагере паника. Некоторые думают уцелеть, притворившись мертвыми. В моем блоке, где многие едва могут пошевелиться, неизвестно, кто из его обитателей еще жив. Бредут, пошатываясь, опираясь на нары, пытаются выглядеть здоровыми и сильными. Общее впечатление: бродящие, жалкие в своем убожестве призраки и — глаза, только глаза, везде глаза живых и мертвых.

Наблюдаю спокойные лица. Одна заключенная отдает другой, которую пока оставили жить, свой кусок хлеба, другая дарит на прощание женщине свой гребешок, это все, что она имеет, и хочет, чтобы после нее он кому-то еще послужил.

В моей памяти возникает лицо Берты. Но что это? Она рывком стаскивает с ноги деревянный башмак и сильно бьет им по лицу эсэсовца, который тащит ее к выходу.

Они уволокли Берту, которая отважилась дать насильнику достойный отпор. Ее ударили по голове и утащили так быстро, что она даже не успела прийти в себя.

Женщины, видевшие это, застыли от страха. Берта была хрупкой молодой еврейкой из Польши. Со своей подругой она пришла на помощь, когда у меня сильно болели суставы, отказывали ноги и не сгибались колени. Как бережно вели они меня по обледенелым дорожкам, следили, чтобы я не упала и не попала в разряд непригодных к работе. Мне бы тогда угрожала смертельная опасность.

Берту отправили в газовую камеру. Как

можно все это перенести? Быть вынужденной видеть и молчать?

Помню, Берта и я шептались перед сном. Мы говорили, что в *последний момент* хорошо бы нанести насильнику удар покрепче и увести его с собой в потусторонний мир.

В Освенциме-Биркенау мы защищались, как могли, и значение сопротивления надо оценивать не по его эффективности. Не будь таких попыток, нашего стремления к бескорыстной взаимной помощи, как можно было бы доказать, что не так-то просто уничтожить в человеке его суть — оставаться человеком?

На наш блок снова налет эсэсовцев: проверка состояния заключенных и отбор — кому еще жить, кого в газовую камеру. У нас в руках пустые миски для еды и еще не съеденный кусочек хлеба, который мы прячем под лохмотьями одежды. Страх насильственной смерти настолько велик, что подавляет способность реагировать на происходящее вокруг. Для эсэсовцев же это скучная чиновничья работа.

Рассказывают, что раньше отбор происходил проще: заключенных выстраивали в ряд и каждого пятого по счету, иногда десятого отправляли в газовую камеру. Но нацисты постоянно изобретают что-нибудь новое. Сегодня действительно приготовлен сюрприз: всех отобранных помещают в отдельный барак. Их убьют обязательно, но пока продержат несколько дней взаперти — газовые камеры и крематории не справляются с чрезмерной нагрузкой, — зачем же обреченных кормить? Скорбь и безмолвие оглушают нас.

В блоке объявлен карантин. Выходить запрещено. Слышны рыдания женщин, пригово-

ренных к смерти. Некоторые женщины спокойны, ибо уже полностью отрешены. Смертельно больных бросают, как мешки, в грузовик.

Когда нам сообщали, что одежда должна быть подвергнута дезинфекции, мы отнюдь не были уверены, что за этим не последует что-то другое...

«Раздеться догола!» — слышится команда. Если кому-то одежда возвращалась, значит, на этот раз повезло... Потом в душ. Но что произойдет там, кто знает? Там возможен новый контроль...

Однажды в душевой нас проверяла врач из заключенных. Стояла напряженная тишина. У врача были печальные глаза, и сама она выглядела очень усталой. Мне было велено, стоя перед окном, поднять руки вверх, что могло означать для меня конец. Врач внимательно посмотрела на меня. Я до смерти перепугалась: неужели обнаружила следы чесотки? Но врач дала знак подойти следующей. Возможно, она ничего не заметила. Как жить в постоянном состоянии страха? С каждым днем слабеют мои душевные силы, и я должна огромным усилием воли заставлять себя хотеть жить.

Каждый раз отборы заключенных (здесь их называют селекцией) объявляют внезапно, иногда они быстро следуют один за другим. Не окажется ли какой-нибудь для меня последним?

Опять отбор, и опять в душ, видимо, на этот раз контроль еще строже, удастся ли мне проскочить? Кругом масса глазееющих, нетерпеливо чего-то ожидающих. Я подхожу к старшей по блоку, она стоит, прислонившись к двери, охраняя вход. Обращаюсь к ней, она не прогоняет, позволяет с ней разговаривать. Я озада-

чена, мгновенно складывается необычная ситуация, не оставляющая ни секунды на раздумья. Мною овладела одна-единственная мысль: прочь отсюда! Но ведь объявлен карантин, ни один заключенный не может выйти из барака, за слушание — расстрел на месте или газовая камера.

Старшая по блоку чуть приоткрывает дверь. Не помню, как я выскользнула наружу, как пробежала по лагерю и очутилась в чужом блоке. Я ничего заранее не рассчитывала, не придумывала, не предвидела, лишь почувствовала молниеносно сложившуюся ситуацию. Бессознательно я всегда искала путь к бегству. Но что произойдет сейчас? Прогонят меня старшая по другому блоку и заключенные? Я всех их подвергаю опасности.

Но в бараке мертвая тишина. Никто не тронулся с места. Никто не указал мне на дверь. Сразу дало себя знать чувство товарищества. Никто не проронил ни звука, все должна была скрыть воцарившаяся тишина. Я, за которой охотились, могла считать себя спасенной.

Не могу не думать о старшей по блоку, с которой я перекинулась всего несколькими словами, которая, сама рискуя очень многим, выпустила меня из барака. Мы не знали друг друга, но она спасла меня, выразив, таким образом, протест против собственного порабощения. Ее поступок меня поразил. А вечером она прошла в блоке очень близко от меня и процедила сквозь зубы: «Второй раз ты мне такое не устроишь!»

Все они, и старшие по блоку, и заключенные чужого блока, находились в тот день в смертельной опасности и избежали ее только случайно, благодаря невнимательности, проявленной в тот

день эсэсовцами. Ибо за такие проступки в Биркенау расплачивались жизнью. Мне на этот раз повезло, но я старалась не думать об опасности, которой подвергла других.

В рабочей колонне встречаю старую знакомую — Мими из Вены, жившую когда-то в маленьком переулке близ площади Республики. Это была остроумная, темпераментная, полная жизни женщина. Теперь ничего этого я в ней не нашла. Я бросилась к ней, некоторое время мы молча разглядывали друг друга. Она рассказала, что с ее двумя детьми все должно обстоять благополучно, ее приятельница вовремя взяла их у нее и отдала во французскую семью. «Моя приятельница очень любит детей, ей, конечно, удалось хорошо их пристроить». И надежда в глазах: «Думаю, с детьми ничего худого не случилось».

Затем говорит, что завтра пойдет в санчасть, ее страшно мучает флегмона на ноге, не дает работать. Рана выглядела ужасно, но все-таки я уговаривала Мими не обращаться к врачу, это слишком опасно. На мои слова она реагировала замедленно, хотела убедить себя, что близко знакома с французским врачом, которая в случае опасности ее предупредит. Я еще раз сказала, что санчасть переполнена и помощи ей никто там не окажет.

Напрасно, Мими была на грани полного истощения. Говорила только о детях, тихо и медленно, все спрашивала, верю ли я, что они в безопасности.

Я не спрашивала, что произошло с ее мужем, ожидала, что она сама заговорит о нем. Но она ни разу не вспомнила ни о муже, ни о ближайших родственниках.

После этой встречи я несколько раз пыталась увидеть Мими, но найти ее мне не удалось.

Снова людей выстраивают в колонны по пять человек, снова проезжают мимо грузовики, до отказа набитые голыми женщинами — в газовые камеры. Остальные заключенные либо ждут проверки, либо их запирают в бараках. Стоны отправленных на смерть еще звучат в ушах оставленных в живых. Полностью ослабевших, с трудом передвигающихся людей — стоящих, лежащих, ползающих — выволакивают из санчасти и тоже увозят в газовые камеры. Для этих полумертвых людей не нужен никакой эскорт.

Я приговорена и знаю это. Запланировано тотальное уничтожение людей, а если узник, несмотря ни на что, еще дышит, его задушат ядовитым газом.

Мог ли кто-нибудь представить себе, что здесь произойдет? «Подобного быть не может», — заявляли те, кто не желал признать действительность. Многие заключенные до ареста жили в хороших условиях, получили образование, и концлагерная жизнь для них особенно невыносима. Может быть, себе в утешение, они сохранили остатки некоторого высокомерия, и это, по их мнению, отличает их от всей массы заключенных. На каждом, кто прошел через концлагерь и испытал все муки ада, осталась неизгладимая печать, на всех, кроме эсэсовцев, уверенных, что им, «расе господ», все дозволено. Мы же, *другие*, балансируем между жизнью и смертью, еще не умерев, но и не будучи живыми. Многие уже без сил, потеряли последнюю надежду и впали в апатию, они уже уничтожены, хотя тела их еще живы. Но и те, кто готов рисковать жизнью, чтобы оказать помощь

товарищу, по-своему защищаются, и лагерному начальству не удастся полностью подавить сопротивление.

В одном из барачков старшая по блоку бешено кричала: «Гляжу я на вас, грязные свиньи, и думаю: давно пора вас на свалку. Эй ты, французенка, и эй ты, гречанка, вы все еще живы? У вас, видите ли, раны! Что, в санчасть захотели, вместо того чтобы работать? Газовая камера — вот ваша санчасть!..» А когда ситуация в лагере угрожающе обострилась, она, потирая руки, со злорадством заявила: «Наконец у меня для вас хорошая новость: газовые камеры снова как следует работают!»

Она жестоко избивала нас, а мы ее люто ненавидели, но были в полной ее власти. В Биркенау пышным цветом распускалась эта страшная погань. Вначале я полагала, что подобные ситуации можно как-то смягчить. Старшая по блоку однажды сказала обо мне: «Посмотрите на нее, ни одну из вас я не била так, как ее, — за то, что бунтует».

Тогда я была в лагере еще новичком и думала, что смогу помешать ей дать волю ярости, кричать на женщин, топтать ногами. Я была еще довольно наивной и относительно физически сильной. Выбрав минуту, она набросилась на меня и избивала. Надеялась, как и другие бестии, что жестокость даст ей шанс и в последнюю минуту ее помилуют. В тот раз я всю ночь должна была простоять на коленях на каменном полу... А как же звали ту блондинку из Словакии, которая меня вскоре тайком освободила... Старшая по блоку, тоже из Словакии, если не ошибаюсь, ее звали Ольгой, была сущим зверем, а ее юная землячка хотела и могла как-то этого

зверя укротить. Старшая по блоку желала отправить меня *туда*, причем сделать это лично, она много раз обещала мне это. Мое спокойствие полностью выводило ее из себя. Мы молча ненавидели друг друга. Вражда между нами сильно встревожила мою спасительницу, и она пыталась перевести меня в другой барак. Еще очень молодая, она была любимицей старшей по блоку, что позволяло ей в какой-то мере влиять на ход событий, и смерть миновала меня. Но совершенно очевидно, что в следующий отбор Ольга с удовольствием отправит меня *туда*...

Поразительно, что я избежала уготованной мне участи. Сыграла свою роль и цепь случайностей, и то, что как раз в тот день отбора не было...

Моя заступница не могла рассчитывать на какую-то выгоду, напротив, ей грозили крупные неприятности. В исключительно жестоких лагерных условиях попытка оказать помощь заключенному ничего не меняла в общей ситуации. Тем не менее я уверена, что была не единственной, кому эта девушка поспешила на помощь, выказав дух сопротивления и товарищескую солидарность. Я разговаривала с ней несколько раз, и она хотела дать мне понять, что многие, такие, как эта дьявольски злая старшая по блоку, не могут себе представить никакого *после*. Они не знали также, куда им «после всего этого» податься, их семьи были уничтожены. Они полагали, что из заключенных, прибывших с первыми транспортом в 1941—1942 гг., в живых остались очень немногие, но внутренне и они уже мертвецы и глухи к нуждам и страданиям других узников.

Последовали очередные изменения в составе рабочих команд, перемещения из одних бараков в другие, и я попала в польский блок. И сразу услышала вопли: «Жидувки (еврейки) пришли». Можно было подумать, что именно присутствие «жидувок» сделало Освенцим-Биркенау столь невыносимым и враждебным человеку местом. Старшая по блоку указывает нам места на нижней койке. Какие там койки, мы должны лежать прямо на земле, блок переполнен, на койках ни одного свободного места. На земле очень сыро, и воздух более затхлый и гнилой, чем на койках. Но здесь много места для жирных крыс. Старшая по блоку нас успокаивает: это ведь не надолго. Хорошее утешение!

Она хочет сказать, что мы скоро отправимся в газовые камеры и что старшие по блокам уже подготавливают соответствующие списки. За несколько дней до насильственной смерти не все ли равно где лежать — на койке или под ней. Правда, с нашей старшей мне удалось поговорить, и, показывая мне свою «культурность», она в виде исключения даже готова выделить для меня одно место... возможно, меня еще можно будет использовать как рабочую силу. Но место она отдает другой женщине из нашей группы. И все же около минуты я с ней беседовала, она видела наше состояние и позволила с собой разговаривать. Для меня это было чудом...

Однажды нас собрали в одном из бараков, где либо сам комендант лагеря, либо другой нацист из начальства держал заискивающую речь и, фиглярничая, пытался убедить нас в том, что с «селекцией» покончено, лагерь уже «очищен».

Мол, в лагере должны быть здоровые женщины и девушки, и все надо сделать для того, чтобы мы вновь поднялись на ноги. Теперь осталось очистить только санчасть. Двадцать пятый блок отныне будет блоком выздоравливающих. Нас ежедневно будут водить в баню, чтобы стала здоровой кожа. Ему конечно же не доставляет удовольствия заниматься чисткой лагеря...

Через два дня старшая по блоку объявила: «Кто хорошо себя чувствует, поднимите руку, требуется здоровая рабочая сила». Желающих оказалось немного, остальных заперли в бараке. Отбор производился по другой форме. Он состоялся после обеда. Один за другим отъезжали грузовики, набитые женщинами и подростками, операция закончилась лишь к утру.

Эсэсовцы имели пристрастие к разного рода обманам, чтобы «спокойно проводить чистку и наводить порядок». Они говорили о «блоке здоровых», а в нем собирали очередные жертвы для отправки в последний путь. Они успокаивали заключенных обещаниями кормить манной кашей, чтобы укрепились силы, а между тем до отказа заполняли газовые камеры сотнями людей.

Эсэсовцы были одержимы стремлением постоянно иметь резерв рабов. С этой целью врачи-преступники организовывали разного рода злодейские эксперименты над людьми.

ЧТО ТАКОЕ «ХОРОШАЯ РАБОТА»

Однажды я встретила в лагере молодую женщину, с которой много лет назад познакомилась в пути, при транспортировке заключенных. Тог-

да она была преисполнена радостных надежд на скорое освобождение, так как истекал срок ее тюремного заключения. Но она ошиблась, ее не освободили, а отправили в Освенцим-Биркенау. Снова сработал злобный, вероломный обман. Семья не могла ее разыскать, но продолжала поиски и установила наконец, где она находится.

Мой вид крайне огорчил молодую женщину, ей хотелось помочь мне, и она отдала свое теплое белье, чему я была очень рада. Она узнала, что в тот момент появилась возможность перейти в новую рабочую команду. «Там и одежда, и еда получше, и не так часто бьют», — сказала она мне и обещала посодействовать туда перевестись.

Я не поверила: «Как это возможно? Здесь, в концлагере, создание новой команды может означать только одно — совершенствование техники уничтожения людей». И просила в отношении меня ничего не предпринимать.

Через некоторое время мы снова с ней встретились. Увидев меня, она заплакала и рассказала, что действительно ту команду организовали, чтобы еще быстрее уничтожить заключенных. Она радовалась тому, что я жива, и спросила, откуда я заранее все знала.

Я, конечно, ничего не знала, просто исходила из того, что у эсэсовцев в Биркенау одни помыслы: как быстрее осуществить массовое истребление заключенных.

ЗЛОДЕЙСТВО НАПОКАЗ

Слышен приказ всем построиться — предстояла казнь заключенной за попытку к бегству.

Команда, работавшая за пределами лагеря, недосчиталась одной заключенной — гречанки, изможденной до предела от голода, жажды и постоянного страха. На пути в лагерь она, вконец обессиленная, упала и заснула в одном из придорожных кустов. Она и подумать не могла о попытке к бегству, вероятно хотела где-нибудь поскорее тихо умереть.

Ее нашли быстро. Для начальства концлагеря этот случай был поводом устроить публичную казнь. На заключенную натравили эсэсовскую овчарку — с таким расчетом, чтобы она по кускам рвала несчастную и продлила для нас страшное зрелище.

Гречанка — почти ребенок, кожа да кости, собака была намного крупнее ее. По команде овчарка набрасывалась на свою жертву и по команде отскакивала...

С той поры я знаю, что человеческая кожа может быть зеленого цвета. Мертвецы не могут сами встать? Но та жертва эсэсовцев пыталась подняться, возможно, от ужаса перед раскрытой пастью злобного чудовища. Гречанка, вероятно, уже не понимала, что с ней происходит, стоит ли, лежит на земле, мертва или еще живет. Овчарке приказано было убить ее «поэтапно». Эсэсовцы хорошо кормили и дрессировали пса.

Так они воевали против беззащитных людей, отданных им на расправу. И следили, чтобы мы все до одного были на плацу и смотрели, смотрели, смотрели....

Прошло уже много лет с тех пор, а я по-прежнему в страхе останавливаюсь при виде немецкой овчарки или волкодава.

«ЭТИ НЕДОБРЫЕ ПАРТИЗАНКИ...»

По лагерю разнесся слух: привезли югославских партизанок в военной форме, которую они ни за что не хотят снимать. Маленькая, хрупкая женщина рядом со мной взволнованно сказала: «Нет, я против партизан. Они подстерегают из-за угла. Фронт есть фронт, а партизаны действуют из засады».

Спрашиваю, каким же способом бороться партизанам с врагом, оккупировавшим их страну? Но она остается при своем мнении. Затем говорит: не верю, что вермахт зверски расправляется с советскими военнопленными, уничтожает и отравляет их в газовых камерах...

Вот как... Если среди узников нацистского режима находятся такие, кто, подобно этой женщине, не верит действительности, значит, нацизм за немногие годы смог в чудовищной степени отравить сознание людей.

Что касается пленных югославских партизанок, то они знали, что их ожидает смерть. Но ничто не могло их сломить, заставить покориться врагу.

Защищаясь, они отвечали ударом на удар и — погибли.

СИГНАЛ ТРЕВОГИ: МАЙДАНЕК!

В лагерь прибыла новая надзирательница. Тучная, рукава рубашки засучены. Построив команду, она заявила, что приехала к нам из концла-

геря Майданек, где никого из заключенных не осталось, так как всех уничтожили. Теперь примутся за Биркенау, она и здесь хорошо работает.

В концлагере Майданек, неподалеку от Люблина, 3—4 ноября 1943 г. было расстреляно 40 тысяч евреев. Эта акция, осуществленная в Майданеке согласно плану, на нацистском жаргоне называлась «праздником урожая».

Однажды на одном из построений я стояла недалеко от чешки лет тридцати. Как-то раньше мне удалось перекинуться с ней несколькими словами, она неплохо выглядела и казалась физически крепкой.

Внезапно она вскрикнула и упала — эсэсовская овчарка напала на нее, зубами вцепилась в икру. Я подбежала, не зная, чем помочь несчастной. Надсмотрщица из новеньких тоже подошла к нам. И разговаривала с нами обычным человеческим тоном. Она казалась озадаченной, пытаясь объяснить чешке, что не хотела этого инцидента, что играла с собакой и та какое-то ее слово ошибочно приняла за приказ. Несколько раз она повторила, что не хотела этого. Я была поражена. Никогда еще мне не приходилось видеть рядом эсэсовку, нормально разговаривающую с заключенными. У меня мелькнула мысль, что при иных обстоятельствах она могла бы стать другим человеком, но «работа» в СС полностью ее погубит.

Надсмотрщица велела чешке немедленно идти в санчасть. Я посоветовала ей то же самое, но сказала, что лучше обратиться к знакомому врачу и рассчитывать на солидарность своих чешских друзей. Однако заключенная отказалась, спокойно заявив, что в ее организме нет

защитных средств и от укуса собаки ей не излечиться. Мои дальнейшие уговоры успеха не имели.

Однажды на марше я увидела во главе нашей колонны ту же надсмотрщицу. Ее сопровождал человек в штатском. Их разговор меня насторожил.

Ее спутник, оказавшийся инженером, сказал: «Про этот лагерь рассказывают много такого, что... Возможно ли?» — «Почему бы и нет?» — последовал ответ, и я узнала следующее. В Майданеке всех заключенных уничтожали, для нее лично это была трудная работа. Теперь она продолжает ее здесь... А после Майданека ей казалось, что по выражению ее глаз каждый сразу догадается, где она была и чем занималась, так тяжело ей пришлось. Ее семья, особенно мать, очень за нее тревожились. Потом она заболела и попала в больницу. Врачи помогли ей преодолеть серьезный душевный кризис. Они убеждали ее — значение работы, проделанной ею в Майданеке, велико и она должна гордиться службой своему фюреру и нацистскому рейху.

Я поняла тогда, что нацисты смогли в своих преступных целях использовать большое количество врачей.

По обрывкам разговора, долетавшим до меня, я могла судить, что эсэсовка провела в госпитале несколько недель, после чего ее признали здоровой и выписали. И так как «работа есть работа», ее перевели в Освенцим-Биркенау. «Теперь я работаю здесь, скоро с этим лагерем произойдет то же, что с Майданеком. Что вы хотели узнать еще? Лучше не знать и ничего не хотеть знать».

Большого из их беседы мне уловить не удалось. Повстречай я эту женщину не в Биркенау и не в форме СС, она, возможно, произвела бы на меня впечатление симпатичного человека. Превращенная в культ система длительного послушания изуродовала ее душу. Эсэсовка находилась в кризисном состоянии и чувствовала себя совершенно одинокой. Не последнюю роль в ее душевном срыве сыграло самомнение отдельных врачей, возомнивших себя «великими учеными», «создателями» более совершенной человеческой расы и сверхчеловека... И никого, способного ей помочь, не оказалось рядом. Она капитулировала.

По наблюдениям заключенных-француженок, новой надзирательнице потребовалось от двух до трех недель, чтобы полностью «вписаться» в лагерную среду Освенцима и не отличаться от других эсэсовок.

Из этой истории я сделала еще один вывод. Там, снаружи, и не только в среде СС, было широко известно о наличии лагерей уничтожения, оно отнюдь не было тайной, как пытались потом это представить.

Спустя много лет меня часто спрашивали, в чем я вижу причину пристрастия гестапо к лжи и фальши, дешевым представлениям и просто-напросто балагану. Ведь в действительности все обстояло чрезвычайно серьезно, творились чудовищные злодеяния. Чтобы скрыть их, гестапо выработало собственный, в большинстве случаев зашифрованный язык, преступные планы имели романтические названия, использовались разного рода ловушки, в ход шли декоративные приемы. Например, изречение «Работа делает свободным» по сути сво-

ей — убедительное и благонравное признание так называемых «высоких нравственных ценностей»... Или: почему нельзя говорить о манной каше, когда речь, по существу, идет о синильной кислоте и цианистом калии?

Нацистские декораторы своим нацистским балаганом одурманили прежде всего самих себя. Когда весь их варварский спектакль закончился полным крахом, многие лицемерно и ханжески заявляли, что об отравляющем веществе «циклон Б» и газовых камерах им ничего не известно, что в концлагерях душ был только обыкновенный. Они как бы хотели убедить самих себя и всех остальных в том, что преступлений, тяжких и кровавых, они не совершали.

СЫПНОЙ ТИФ

Хорошо помню, как одна заключенная из нашего блока уговаривала меня перейти в команду, выполняющую сельскохозяйственные работы. Она и ее приятельница смогли устроить мой незаметный переход к ним: «Понимаешь, это хорошая команда, тебе надо быть с нами».

И мне повезло. Я наконец попала к ним — они копали землю и кололи дрова. Сухая, неглинистая земля, и работалось порой почти как в нормальных условиях. Чтобы попасть в эту команду, заключенные при построении устраивали настоящую потасовку. Тогда вмешивались надсмотрщицы, жестоко избивавшие всех подряд. Я заметила, что легче переношишь побои, когда они обрушиваются на всех сразу. И не переставала удивляться, откуда у бестий-надсмотрщиц такая физическая сила, а потом поняла: они ведь не голодают, не умирают от жажды, не страдают от холода и не живут под постоянным страхом...

Поначалу все шло хорошо, если можно так сказать о пребывании в концлагере, но, к несчастью, у меня повысилась температура, на что я не хотела обращать внимания. Если у меня кружилась голова и я падала, то меня это не пугало — земля, на которой я лежала, была не скользкой и глинистой, а теплой и сухой. И в моем пылающем мозгу рождались видения. Я разговаривала с землей, просила быть доброй ко мне, но знала, что цветок, растущий в Освенциме, не может быть цветком. Я открывала для себя чувство любви к земле. Было приятно лежать на ней, чудилось, что я просто прилегла отдохнуть. Как бы издалека донеслись вдруг до меня слова женщины: «Смотри, помирает, а такая еще юная».

Беда моя была совсем близко. Одна из надсмотрщиц заметила что-то неладное и подбежала ко мне. Но я вовремя успела вскочить и постаралась выглядеть как вполне нормально работающий человек. Она спросила, не упала ли здесь заключенная и не я ли это. Удивившись, я сделала вид, что не понимаю ее вопроса. В тот момент в силу острых драматических обстоятельств необходимо было не дать этой бестии что-либо заподозрить, слишком сильным был страх выдать себя и тем обречь на смерть. Ибо если ты еврей, то, естественно, — почему, собственно, естественно? — ты подлежишь отбору, отправке в газовую камеру, сожжению заживо. Конечно, в Освенциме помимо евреев в газовых камерах умерщвляли и цыган, и поляков, и советских военнопленных.

Как-то раз, копая землю, мы заметили, что рядом прохаживается врач-эсэсовец и внимательно нас разглядывает. Явление необычное.

Что ему здесь нужно? Остановившись возле меня и указав на мои опухшие пальцы, он сказал: «Завтра в санчасть на укол».

Я оцепенела, были озадачены и другие заключенные, которые это слышали. Либо речь шла об испытании какого-то препарата, либо он рассмотрел у меня болезнь кожи.

Чувство тревоги во мне нарастало. Завтра же надо скрыться в другой команде, но в какой? Хорошо, что свидетелем этого разговора не стала эсэсовка и что врач не записал мой лагерный номер. Хоть бы он не появился завтра и не обнаружил меня...

В последующие дни мною владело какое-то странное чувство, но каждый день я отправлялась на работу со своей командой. Мне необходимо было двигаться и ни в коем случае не торчать в концлагере. За его пределами, когда перед глазами нет колючей проволоки под током высокого напряжения и сторожевых вышек, чувствуешь себя как-то спокойнее.

Копать мне все тяжелее. Но земля, окрестности были моим утешением, только бы не видеть дыма лагерных крематориев. Заметно, что заключенные физически слабеют — лица их угасшие, отрешенные, выражающие полную безысходность.

Но я копаю и все глубже. Земля рыхлая и рассыпается на мелкие комочки. На ней хорошо сидеть, еще лучше лежать. Не то что на полу под нарами. Как приятно смотреть на землю, это не дым и не огонь. Здесь нестрашно упасть и удариться. Но там быть брошенной в камеру или быть задушенной, пылать в огне... Рассказывают, что, когда заключенных сразу с железнодорожной платформы отправляли в газовые

камеры, они пытались защищаться... Могли, должны были защищаться, это их право, без этого остается лишь рабство и смерть...

Какая-то девушка помогает мне встать, полная страха, тормозит за плечи. Итак, случился второй обморок, что бы это значило? Одна заключенная шепчет в испуге: «У тебя температура, беги в санчасть, находиться с температурой в блоке запрещено». И строго смотрит на меня. Моя температура так ее напугала? Разве она есть у меня, я совсем ее не чувствую, что им от меня нужно?

Эсэсовка давно уже все заметила и угрожающе сказала: «Не вздумай завтра снова выйти на работу!»

В бараке девушка поднимает халат и говорит печально: вот он, сыпной тиф. Весь живот усыпан ядовитыми клещами, глубоко впившимися в кожу. Осенью 1943 г. эпидемия тифа свирепствовала повсюду.

На следующее утро эсэсовка строго разглядывает нас, чтобы не пропустить заболевшую заключенную. Я стою среди многих в строю. Но по приказу другая бестия вытаскивает меня из рядов со словами: «Вон отсюда, дрянная такая!» Я проскальзываю в следующий ряд, а старшая по блоку вытаскивает меня и оттуда. Пытаюсь вырваться, но, сбитая, падаю на землю. Неужели пришел мой конец?

Она зовет: «Дуся!» Сегодня старшая по блоку в новой белой кофточке из ангорской шерсти, с новой прической, конечно, не хочется сразу все испортить, и потому она кричит «Дуся!». Та уже здесь, и не одна, взгляд в мою сторону, меня хватают, я защищаюсь и получаю в ответ сильные пинки. Ноги в сапогах у этих двух

Дусиных помощниц. Понимаю, где мне надлежит быть — меня тащат в санчасть. Правда, не очень торопятся, к чему слишком напрягаться из-за «дряни», у которой не хватает ума добровольно идти в санчасть? Они тащат меня туда, куда можно войти, но никто не знает, удастся ли оттуда выйти.

Они тащат меня и говорят... о моей одежде. Очень понравились мои шерстяные чулки — подарок Штеффки из Югославии, чтобы я не слишком мерзла зимой. Одна из бестий пытается стащить их с меня на ходу, но я яростно сопротивляюсь, хотя почти без памяти и не помню, что говорю. В общем, меня оставили в покое.

Но помню, как я стояла перед врачом, такой же заключенной, как и я, и пыталась рассказать, что не понимаю, зачем меня сюда доставили, ведь со мной все в порядке и меня надо отпустить... «Взгляните-ка на нее, ведет себя как здоровая и уверяет, что ничего с ней не происходит, а температура более сорока. Что вы по этому поводу думаете? — спрашивает врач. «Тиф, что же еще другое», — говорит одна из работниц санчасти.

И опять с любопытством все рассматривают мою одежду: одной понравилась юбка на мне, другой, видите ли, впору моя обувь! Все эти вещи я носила не более двух-трех недель. Красивый шерстяной платок с длинной бахромой приглянулся обеим. От возмущения и бессилия я теряю дар речи.

...То был знаменательный день и поистине прекрасное утро, когда Штеффка вручила мне ботинки на шнуровке и кое-что из теплой одежды. Радость моя была велика еще и потому,

что каждый предмет был красив, и, в общем, я надеялась, что теперь мне легче будет пережить предстоящую зиму. Не думала, что так быстро всего этого лишусь.

Я хотела еще раз сказать, что не больна, не чувствую признаков болезни... Но врач молча посмотрела на меня и продолжала работать — она была очень занята, и я не смела ее задерживать. Не в силах также помешать ее помощницам делить между собой мои вещи.

Снова стою перед ними, уже совсем голая. Одна из них говорит: «Выкинь из головы мысль, что выйдешь отсюда, ты должна здесь остаться, и никто тебе не поможет...»

Мне страшно, страх не покидает меня ни на секунду. Я никого здесь не знаю. Мне не дают даже рубашки. Напоследок спрашивают, не оставлю ли я им мой красивый платок с вышитыми на нем розами и шелковой бахромой. «Он тебе ни к чему, тебе все равно он не понадобится». Вторая помощница добавляет: «Ну а если ты все-таки выйдешь отсюда, свои вещи сможешь получить обратно». Первая более правдива, она сказала просто: «...тебе все равно он не понадобится», причем без цинизма, констатация факта человеком, не собирающимся притворяться... И все-таки на этом наш разговор не закончился, они хотели, чтобы я сама поделила между ними свою одежду. Помню, с чувством глубокого удовлетворения я тогда сказала: «Во всех этих вещах полно тифозных вшей». Не хотелось, чтобы при мне была дележка, от всего происходившего было жутко и противно. И еще помню, что они сказали: «А мы глухие,

мы ничего не слышим, и не надо с нами разговаривать». Значит — не проси о помощи.

Мое место на «втором этаже». Лежим вдвоем голые на одноместных нарах под одним тонким вшивым войлочным одеялом на тонком мешке соломы. Рубашек не дали. От женщины возле меня веет ледяным холодом, и кажется, она вбирает в себя мой лихорадочный жар. Мерзну и, чтобы окончательно не околеть от холода, переворачиваюсь с боку на бок. Больная соседка жалуется, что я все время верчусь. Но я, слава богу, еще не труп!

У наших ног укладывают третью больную. У меня жар, в бреду разговариваю с югославскими подружками. Как радужны наши планы на послевоенное время! Потом больные рассказывали, что я стонала и много говорила, но понять они не все могли. Больные сыпным тифом часто фантазируют. У некоторых это состояние продолжается длительное время и после болезни.

Медикаментов нет, силы восстановить невозможно, последствия болезни ускоряют губельный процесс. Стоны умирающих бесконечно раздражают. Но, вероятно, в том изможденном состоянии, в каком я тогда находилась, они помогали сохранять сознание.

Я в лихорадочном возбуждении ищу друзей, и, конечно, нахожу их. Наконец разрешена переписка, и Красный Крест — мое воображение разыгралось — уже передает письма и посылки. Хотя я оставлена на съедение вшам и в полубессознательном состоянии иногда отдаю себе отчет в том, что я развалина, у меня чесотка и, вообще, я погибаю, моя больная фантазия неустанно работает: отправляю и получаю коррес-

понденцию, сообщаю, что необходимо срочно выслать противочесоточную мазь, и отовсюду друзья сообщают, что эту мазь немедленно высылают. Фантазия совершенно дикая, ведь опасаясь поставить под удар товарищей и друзей, мы после ареста никому не писали. А тут заключенная концлагеря Освенцим-Биркенау фантазирует о чем-то подобном! Вот уж поистине бред.

Как часто я ждала появления Красного Креста и не могла понять, и многих расспрашивала, чем объяснить его отсутствие. Порой утверждали, что начальство лагеря не допускает его представителей к заключенным. В другой раз я засомневалась, не предаюсь ли пустым мечтам. Но в конце концов сама настолько оказалась во власти своей фантазии, что сочинила план нашего общего спасения.

В один из дней я была сильно возбуждена и рассержена: война уже закончена, а на лицах обитателей барака я не вижу ни следа радости! Я набросилась на них с упреками: «Вы настолько больны, что даже не в силах понять, что это значит: нацистская Германия разгромлена! Да, бои еще продолжаются, Германия еще не капитулировала, по войну проиграла!» Потом я рассказывала, что все нации уже направили своих представителей в концентрационные лагеря. «Но нацисты сопротивляются, и поэтому мы еще здесь. А они продолжают воевать — не хотят потерять награбленное добро и оккупированные ими страны».

Был момент, когда я хотела вырваться и куда-то бежать, «чтобы раздобыть необходимую мне черную мазь». Я так дико взмахивала руками и куда-то рвалась, что старушка возле меня про-

сила перевести меня в другое место... И тогда меня положили на нары к очень юной голландке. Правда, рядом находилась еще и полька, но она не температурила, а голландка пылала так, что я могла наконец согреть спину. Поворачиваясь, я грела ноги, потом руки и как будто засыпала. Впадая в полузабытье, я продолжала фантазировать и воображала, что получила телеграмму следующего содержания: «Все австрийцы могут вернуться домой, отъезд назначен на ближайший понедельник».

Очнувшись в один из дней, почувствовала себя совершенно несчастной: жара у соседки больше не было. «Смотри, ты выздоравливаешь, у тебя нормальная температура. Но ты должна знать, мы все надеемся на скорое окончание наших мучений — ведь на следующей неделе австрийцы смогут вернуться домой, а потом, несомненно, и остальные». — «Нет, — отвечала голландка, — я не выздоровею, я умру, не сегодня, так завтра, а если не завтра, то в день, когда уничтожат всех находящихся в лагере».

Я прикрикнула на нее: «К чему ты болтаешь о смерти?!» И чтобы не слышать этих постоянных горестных причитаний, заставляю ее вспоминать прошлое, детство, родной дом, побережье. Постепенно ею овладевает тоска по родине, она начинает мечтать и в конце концов больше не говорит о смерти. Но предаваться воспоминаниям ей тяжело. Из всей ее семьи в живых осталась она одна.

На нарах под нами темно и мрачно, но туда больным легче вползать и выбираться оттуда. Меня мучают вши, я расчесалась до крови. Часто впадаю в забытье и думаю: все, мне не встать. Вши огромные, я их просто сбрасываю с тела, на большее не хватает сил.

В обморочном состоянии мне порой представляется, что я беседую со своими друзьями. Говорю им: «Больше я не выдержу». Тогда — так мне видится — от них приходит телеграмма: «Подожди только до субботы». Но и это мне кажется едва ли возможным, и я телеграфирую: «До субботы не выдержу». И тогда приходит последняя просьба: «Только до четверга, только до четверга, выдержи, не чешись, не чешись. Чесотку вылечат в Вене...»

В ушах звенит, я почти ослепла. Итак, только до четверга, и больше не чесаться. И все же я хочу — а на ногах не держусь — сбежать из санчасти, этого сущего ада. Не знаю, как получилось, но вдруг замечаю, что тифозная больная с соседней койки стоит у меня за спиной, потом куда-то потащила. Она объясняет, что я пожаловалась на жажду и хотела налить себе бокал вина... Она пошла за мной, а я устремилась к месту, где находятся средства для уборки и чистки помещений, и схватила бутылку с лизолом, не зная, что это яд... Несчастье успели предотвратить.

Меня действительно мучила жажда, а фантазия подсказала, что мне прислали апельсины. Будто бы Красный Крест в свою очередь обрадовал нас бутербродами, и мы смогли насладиться ими и апельсиновым соком.

...Как мертвец лежу я на узких, тесных нарах. Даже когда вспыхивают проблески сознания, оно все равно остается сумеречным, и я чувствую себя потерянной. Состояние близкое к прекращению существования вообще.

Здесь я никого не знаю, и никто не знает меня. Когда температура несколько спадает и фантастические видения на какое-то время ис-

чезают, я ощупываю свое лицо и нахожу на нем болевую точку, слева внизу под челюстью, вот она, маленькая опухоль, возможно фурункул. И тогда убеждаюсь: это действительно я. В последнее время сознание мне изменяло, и благодаря этой маленькой чувствительной точке я снова начинаю ощущать себя — своего рода опознавательная боль. Жизнь содержит поразительные примеры упрощенного подхода к действительности: через посредство болевой точки можно убедиться, что ты жив. И тогда вновь спрашиваю себя, где я нахожусь, ибо все окружающее доходит до меня в сильно затуманенном виде.

Позднее, когда я уже могла несколько лучше слышать и различать происходящее вокруг, я узнала, что врач отказывалась поверить, что я еще дышу. Она не раз говорила, что «это», то есть я, скоро освободит место. В санчасть постоянно поступали новые больные, которых некуда было положить. И были, вроде меня, полутрупы, занимавшие несколько дней и ночей койки лишь потому, что преодолевали смерть.

Но вот врач сказала: «Отправим ее в пятый, пересыльный блок, здесь ей делать нечего». Я очень испугалась. Почему она вообще беспокоится о моей судьбе? Ведь придут в конце концов за австрийками, а меня не смогут найти. И я спросила: «Не могли бы вы не обращать на меня внимания, забыть обо мне?»

Но однажды произошло событие, приведшее меня в состояние шока. Было четыре или пять часов утра. Я увидела входящего человека в военной форме, и меня охватил ужас. Когда пришла в себя, то поняла, где нахожусь. Вопрос, как я могла убаюкивать себя всякого рода бе-

зумными фантазиями, застучал в моей голове. Именно сейчас я должна испытать себя и установить, на что могу рассчитывать.

Останавливаю проходившую мимо фельдшерницу и спрашиваю, смогу ли выписаться в четверг... «Да, да». А себе твержу, прочь все фантазии, сейчас важно одно — скорее вон из санчасти, преддверия газовой камеры.

Что может случить: произойди все днем позже, было бы слишком поздно.

Итак, никаких надсмотрщиц, никаких телеграмм, черной мази — все это лишь угасшая лихорадочная фантазия и ощущение полной беспомощности. В голове несколько прояснилось, но еще недостаточно. Как я попала в санчасть? Спрашиваю об этом соседку по нижней койке.

«Как все с тобой произошло? Как со всеми». Затем рассказывает: я подбадривала гречанок и полумертвую голландку, внушала им волю к жизни, убеждала, что вслед за мужчинами, которых освобождают из лагерей раньше, так как они нужны в качестве бойцов партизанских отрядов, придет очередь женщин. И печально добавляет: «Ты объясняла, что всех сразу освободить невозможно, но нас, больных женщин, просят потерпеть, пока не организуют специальных автобусов. Австрия, мол, уже освобождена, и всех австрийцев из лагеря скоро отпустят. Тебе верили, каждому твоему слову...»

Я упрекнула ее: «Почему ты не привела меня в чувство?»

«По профессии я медицинская сестра, сама смертельно больна и думала, тебе легче умереть, не приходя в сознание. Ты ничего не ешь, превратилась в скелет, это плохо кончится.

Вчера опять был отбор, в камеры отправили пятьдесят человек...»

Для меня это тревожный сигнал, он отрезвляет. Предчувствую, что больные из санчасти, тифозные из барака будут очень скоро отправлены *туда*...

Хочу сойти вниз, но ноги не держат, не слушаются ни руки, ни ноги. Готова ползти на четвереньках. От меня остались кожа да кости, но ощущение такое, что в коже мне чересчур тесно.

Как же выбраться из санчасти? Мысль о предстоящем отборе приводит в содрогание. Спрашиваю медсестру, почему она не пытается отсюда выбраться, но та отмалчивается. Потом догадываюсь: она работала здесь и надеется, что ей помогут спрятаться и в последний момент спастись.

Сидя на койке, рассматриваю себя. Во что я превратилась? В серо-зеленый скелет. Вся дрожу, на теле следы чесотки. Встаю и шатаюсь, куда я иду? Вон отсюда, да поскорее. «Вы все должны уйти отсюда,— говорю я лежащим в бараке,— иначе будет поздно». Они растерянно смотрят на меня и почти не реагируют. Ужасно находиться среди больных, которые не хотят очнуться и прийти в себя. Не хотят? Не могут!

Жду врача. Наконец она приходит и как бы вскользь бросает: «Тебе отсюда не выйти». Она не может знать, что мне уже все известно и что теперь я думаю об одном — как из этого барака перебраться в рабочий лагерь. Снова обращаюсь к медсестре, прошу ее вместе со мной попытаться уйти, вдвоем это легче будет сделать. Но она советует поговорить с ее приятельницей, которая лежит в другом конце барака, и убе-

дить ее встать, внушив, что она может работать. «Она политическая, с ней ты можешь говорить свободно».

Я попыталась это сделать. Многие имена за эти годы я забыла, но ее фамилию хорошо помню: Пфефферава.

Итак, мне предстояло убедить полумертвую женщину выразить желание вместе со мной перейти на сельскохозяйственные работы. Подходит ли для этого время года, я не задумывалась. Я шептала ей, что это наш единственный шанс, что мы должны выбраться из барака, что ничего хорошего здесь ее не ожидает, никто не придет на помощь. Не можешь стоять? Но лежать здесь хуже, не хватает воздуха, а когда встанешь и пойдешь, то быстрее придешь в себя.

Отвернувшись, она вдруг сказала: «Можешь дать мне апельсин? Один-единственный, мне так хочется!»

Господи, откуда я возьму ей апельсин? Видал хоть кто-нибудь здесь нечто подобное?

— Мне необходим апельсин, от всего остального меня тошнит.

— Никто тебе его не даст, не жди, забудь о нем или представь, что сегодня ты один уже съела, пойдём...

— Но сейчас я не могу работать,— слова она не произносит, а выдыхает.

— Тебе больше поможет работа, чем воздух здесь. Все это продлится уже недолго, война скоро закончится.

Но она меня уже не слушает. Хочу поговорить с ее соседкой, но та бормочет что-то нечленораздельное. Вокруг слышны стоны, а мои торопливые слова кажутся непонятными, помехой, вызывающей лишь тревогу и ощущение еще

большей беспомощности. В подобных ситуациях верующие разных религий находят выход — молятся и верят в прекрасный потусторонний мир. Как я могла отказать смертельно больной женщине в мечте об апельсине? Будь у меня один-единственный апельсин, он помог бы ей встать на ноги и выйти на работу. И я вдруг поняла, какую помощь в трудную минуту может оказать всего лишь мечта о том, что ты вдыхаешь аромат апельсина и пьешь его сок.

Увы, я оставила Пфёфферову в покое. Вернулась к медсестре и рассказала ей о своей неудаче. Та тоже ничем не могла помочь приятельнице. Но для меня ей хочется что-нибудь сделать, так как, тихо шепнула она мне, я рассказывала такие чудесные истории! И несмотря на то что они не могли быть правдой, она внимательно слушала их. Она упомянула о враче, «тоже политической», — когда та пройдет по барраку, мне следует обратиться к ней.

До сих пор все мои просьбы к кому-либо из служащих в этом бараке оставались напрасными. Никто из них и слышать не хотел о том, чтобы отпустить меня на работу. Я просила их передать весточку обо мне моим друзьям из Югославии — к моим словам относились, как к фантазиям. Я хотела дать знать Штеффке, что еще жива, но никто не передавал обо мне ни слова. Выйти из санчасти имели право только работающие в ней, поэтому навестить моих югославских друзей я не могла. К тому же мне нечем было прикрыть свою наготу, а уже стояла зима. Я не знала, сколько времени находилась в санчасти, найду ли вообще знакомых югославок, может быть, их уже перевели в другой лагерь.

Потом я стала замечать, что в бараке что-то происходит, люди беспокоятся, появляются и уходят. Это вызывало подозрения, я снова сказала медсестре, что нам необходимо отсюда выбраться. «Нет сил», — прошептала она. «Что значит «нет сил», когда дело идет о жизни и смерти?» Но она молчала. Вся дрожа, я остро чувствовала необходимость немедленно что-то предпринять.

И вот толчок к действиям. В барак вошел врач-эсэсовец в сопровождении целой свиты. Не Менгеле ли это? Он спрашивает, нет ли среди больных людей, готовых приступить к работе. Медлительные брезгливые движения этого высокопоставленного зверя не скрывают внимательности, с какой он подходит к отбору человеческого материала...

Тут же даю о себе знать — я готова работать. Но мой вид... Разве можно принимать мои слова всерьез, нет, они просто смешат его, я ему докучаю. Однако я настаиваю и кричу, загоразживая путь другим: нечего так на меня смотреть, это ваша работа, такой сделали меня вы и не удивляйтесь, что я так выгляжу, это ваша, ваша работа!..

Мои крики вызвали всеобщее смятение, а это — нарушение высшего требования: в лагере злодейские убийства должны совершаться в полном спокойствии, как совершенно нормальная, обычная процедура, без досадных и тягостных помех. Поэтому высокопоставленный зверь небрежно произносит: «Ладно, выпустите ее». Но это слова, а я вижу молчаливое понимание его свиты, мой лагерный номер никто не записывает.

Опасения, что в бараке возникнет ненужная атмосфера беспокойства, создали, видимо, не-

кий дополнительный эффект, о последствиях которого я не подумала, и, вероятно, должна быть благодарна врачам, что эсэсовец тут же не отправил меня «куда следует». Во всяком случае, в ту минуту эсэсовец, вероятно, думал лишь о том, чтобы заставить меня замолчать. Он сделал вид, что готов выпустить меня, как бы не принимая во внимание, что какая-то жалкая заключенная, осмелившаяся кричать на него, заслуживает лишь одного — немедленной отправки в газовую камеру. А все сказанное им для моего успокоения было словесной бутафорией.

Зверь и его свита покинули барак.

Чтобы добраться до врачей нашего барака, мне необходимо было перешагнуть через длинную батарею центрального отопления (кстати, холодную даже в это время года). Но перешагнуть я не смогла, поэтому я легла на нее, перевернулась, затем встала и стала ждать... Каждый раз, когда появлялись врач или медсестра, я пыталась с ними заговаривать. Одна из них меня выслушала и сказала: «С такой кожей я тебя не выпущу, выбрось это из головы». И спокойно добавила: «Не выйдешь сегодня, выйдешь в другой раз».

Возвращаться на нары было выше моих сил.

И тогда пришла наконец врач Манци, о которой говорила мне медсестра. Я знала о пей так же мало, как и о других, но рассказала ей, почему и как долго нахожусь в заключении... И она мне не отказала. Мы подошли к столу, она взяла лист бумаги, где был проставлен длинный ряд номеров. В самом низу, туда, где, помню, оставалась узенькая полоска, она вписала мой лагерный номер. Если не ошибаюсь, список был составлен на сорок заключенных, сорок первой стала я.

На следующее утро среди других вызвали и меня, и я покинула барак, в котором размещалась санчасть. Перед выходом дали кое-какую одежду.

Я увидела снег. Я была счастлива. Счастлива еще и потому, что он показался мне необыкновенно прекрасным, что вообще шел снег, такой же, как в прошлом году и, наверное, как и в будущем. Радовалась, что стою, хожу, что выжила, что вырвалась из санчасти. Лагерные бараки показались мне совсем маленькими, какими-то перевернутыми, все мне казалось отстоящим от меня на большом расстоянии. В ушах шумело. В непомерно больших деревянных башмаках я спотыкалась и много раз падала, дорога, по которой я шла, казалась мне обманчиво ровной, а все находящееся рядом — очень от меня удаленным.

Я думала, что теперь спасена. Ведь я хотела выстоять и выстояла, несмотря на подстерегающие газ и смерть, голод, плети и чесотку. В конце концов это безмерное горе будет устранено, и мне хотелось дожить, увидеть победу над врагом человечества — фашизмом.

Каким после победы будет новый мир? Все это я хотела увидеть и пережить!

Санчасть осталась в прошлом. В последующие дни большое количество содержащихся в ней заключенных были отравлены газом «циклон Б».

В ПЕРЕСЫЛЬНОМ БЛОКЕ

Я не могла всего предвидеть: нас отправили в так называемый «блок-профилакторий». Там не было рабочих команд и рабочего лагеря как

такового. Зимой, без головного платка, в отряпках, заново начала я убогую жизнь, еще страшнее и ужаснее, чем прежде. Из блоков эсэсовцы черпали новые жертвы для выполнения своих смертоубийственных планов.

Мы очень ослабели, и выдерживать долгие проверки становилось неимоверно трудно. Только бы не упасть в грязный снег и не стонать там, не ждать, пока начнут бить и волочить по земле. Старшая по лагерю, сытая, тепло одетая, проходя мимо, бросает: «Так это ведь одни скелеты, надо провести еще одну чистку, лучше всего отправить весь блок».

От голода я боюсь потерять сознание. Закрываю глаза — слишком устала. И вот уже наплывают видения, я варю пищу, ем вкуснейшие мясные блюда... Боже праведный, еще одно бегство, но теперь в мир яств. Сознание затуманивается...

В блоке стараюсь есть все, что дают, хотя последствия ужасны — рвота и поносы. Но и в очередной раз я съедаю свою отвратительную похлебку. У меня нет выбора, я хочу жить, значит, не сдаваться... Мое общее состояние никуда не годится. Однако выбора нет...

Очень многие переболевшие сыпным тифом не могут есть концлагерную пищу, ее действительно трудно проглотить. Воображение рисует наливное яблоко, но его нет и не будет. Некоторые после сыпного тифа ничего не едят и быстро погибают. Во многих случаях погибают как раз от пищи...

Видеть все это и сознавать, что находишься в пересыльном блоке и похожа на скелет, — очень страшно. Голод. Все вокруг под знаком голода, он беспощаден и царствует. А войне

нет конца. Может быть, есть солому или грызть деревяшки? Следовало бы попробовать. Мое сознание опять затуманивается. Усилием воли встряхиваюсь — я должна ясно все видеть и отдавать себе отчет в происходящем. Вот эсэсовки с плетями и овчарками. Объяснимо ли это? Вот женщины, несчастные, страдающие, кругом грязь. Красные факелы горят день и ночь, спрашиваю, в чем дело, но женщины не реагируют. И я не уверена, что сама еще не потеряла разума.

А то вдруг окружают эсэсовцы и загоняют в блок. Появляются комендант лагеря и главная здесь эсэсовка. Мы должны быстрым шагом пройти мимо них, именно быстро, и при этом пытаться выглядеть здоровыми, каждая — грудь вперед, надувает щеки, сильно их растирает. Получается ли это у нас, полумертвецов, совсем ослабевших, с температурой, больных? Но ведь «отбракованных» уведут.

В блоке трупы заключенных. Уже несколько дней они лежат на койках, под койками и в коридоре между двумя рядами коек. Взбираясь на свое место, я стараюсь не касаться их, а спускаясь, не ступить ногой на чье-либо лицо. Заключенные, сами полумертвые, умоляют убрать трупы от них, опустить на пол или вынести из барака. Но кого они просят, все мы едва двигаемся. И так как никто не может убрать трупы, они лежат в проходах или их используют как опору, как скамеечку, чтобы легче вскарабкаться на верхнее место. Странная мысль приходит в голову: так мертвые оказывают последнюю услугу живым. А живые могут, облокотившись на мертвецов, лучше видеть окружающий их мирок.

Вот так мы лежали вместе с мертвецами... Впрочем, живые мало чем отличались от мертвецов.

И ко мне обращались с просьбой убрать с соседней койки труп. Я могла бы попробовать... Знаю должна была это сделать, мертвых из барака надо убрать. Но я не в состоянии поднять собственные руки. Ужасное чувство, словно все во мне погасло.

Живые двигаются как тени, они еще здесь, но уже на пути к мертвым. Я хочу сохранить в себе жизнь, не потерять себя в этой переполняющей Биркенау смеси мертвых и живых...

Лихорадочно ищу своих югославских друзей. Наконец нахожу, но радость омрачена: Штеффка Лорбек очень больна, у нее температура. Мое появление для всех неожиданно. Штеффка зарыдала, конечно, мой вид ее ужаснул. Сквозь слезы она сказала со своей словенской интонацией: «Ты птица феникс, как тебе удалось, ты вернулась...» Тогда я заплакала: больше выдержать не смогу, они сломали мне крылья. Пусть это звучало банально, но точно соответствовало действительности — нацистские бестии ломали людям крылья.

Мои друзья тоже долго искали меня, но в списках больных, находящихся в санчасти, почему-то не могли найти. Штеффи Штиблер работала в лагерной канцелярии и имела возможность заглянуть в списки заключенных. А раз меня в санчасти нет, значит, жива. В лагере последовали три отбора один за другим... Нацисты в ярости, а нас все более охватывало чувство апатии, глубокого оцепенения. Широко раскрытыми глазами смотрели мы на то, что творится вокруг. И, как обычно, гремела над нами угроза забрать всех подряд.

Штеффка и Штеффи, обе словенки, пытались вместе попасть в одну рабочую команду и оказаться в блоке, где была наибольшая вероятность избежать отбора. Я уже была страшно напугана пережитым.

Однажды вечером, когда мы надеялись, что день со всеми его страхами позади и благополучно пройдет поверка, налетела банда и объявила отбор. «Стоять смирно!» — скомандовал эсэсовец, и мы увидели, как уже тащат одну жертву за другой. В тот день нацистам для выполнения намеченного плана не хватало шестидесяти жертв.

Высшим лагерным чинам не хотелось в тот вечер прерывать очередную попойку, и проведение операции они поручили своим помощникам. Ко мне подбежала одна из уголовниц и зарорала: «Очень уж ты зажила на этом свете, бледнолицая тварь!» Я залепетала: «Штеффи Штиблер ждет меня рано утром, я должна быть в команде...» Все это не могло иметь для нее значения, ей и выслушивать меня не надо было, но на какую-то секунду она остановилась, выпустила мою руку, и я тут же затерялась среди заключенных, стоящих за мной. Было уже темно, и атмосфера в бараке была весьма накалена, дальнейший ход событий мне трудно подробно изложить. Помню только, что удивилась: оказывается, эта фурия знала Штеффи. Во всяком случае, еще одна отсрочка, которой я обязана моим югославкам, моим дорогим «партизанкам»...

Это действительно было так, и нельзя об этом умолчать. Разве может кто-нибудь сказать о се-

бе, что он благодаря только собственным силам смог выстоять в этом аду? Как все происходило? Выкарабкалась я, значит, другая попала в число тех шестидесяти жертв. Было бы ложью делать вывод, что в концлагере существовала реальная возможность избежать смерти. Было бы непорядочно утверждать, что спасение следовало приписать собственным заслугам.

В тот вечер заключенные шепотом передавали друг другу страшную весть об уничтожении в один день в газовых камерах шести тысяч человек.

ТКАЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Мы ткачихи. Нет, мы не вырабатываем ткани, мы сплетаем черные, липкие, прорезиненные ленты. Материал различный: остатки зонтиков, плащей, покрышек, разный хлам, собранный в местах боев. Сдать надо определенное количество плетей. Плетями потом хлестают и подгоняют заключенных. Плетями часто пускали в ход, и они быстро изнашивались. Заключенные тоже долго не выдерживали, но их было много и число их росло.

В лагерь доставляется нужный материал, и заключенные судорожно торопятся отобрать из него наиболее пригодный для работы. Ведь если не сдашь определенного количества продукции, получишь удар плетью по голове. Череп же твой почти голый и к ударам очень чувствителен, после сыпного тифа работаешь медленно и с помутненным сознанием, поэтому опасаясь, что повредишься умом. И если в голове шум, то во время работы надо быть как можно сосредоточеннее, чтобы не выдать своего сос-

тояния. Меня все раздражает, готова ударить обидчика, но не хочу, чтобы меня тут же прикончили. Руки стали неловкими, а показать себя неспособной к работе опасно для жизни.

Допотопный ткацкий станок требует смазки. Несмотря ни на что, я должна выполнять норму выработки, иначе вышвырнут из команды. Работа эта считается «хорошей»: всегда под крышей, даже можно плести сидя, не надо идти куда-то строем, что очень утомительно. Здесь я избавлена от бесконечных проверок, которые должна выдерживать стоя, в любую погоду... Так что сплестать резиновые ленты — хорошая работа. От пайки маргарина урви какую-то долю для смазки станка и чистки рук. Слипшиеся грязные пальцы плохо слушаются, поэтому откажись от кусочка маргарина.

Мне горько, что я занята на производстве вещей, применяемых во зло человеку. Еще одно испытание на мою голову! Помогаю ли я этим продлить ведущуюся фашистами войну? Все, каждое мое движение им на пользу, так же как эти плети. А мои товарки уверяют, что мне должно быть здесь хорошо, здесь можно хоть как-то существовать. И стоит ли в моем положении еще о чем-то подобном беспокоиться? Соблюдай спокойствие и сплетай плети...

Однажды к моему столу подошел какой-то заключенный. Он узнал, что я из Вены, и хочет помочь советом. «О материале можешь не беспокоиться. Почему ты так плохо выглядишь, больна?» Озадаченная, отвечаю: «Ну как же, если не выполню норму, пострадают остальные...» Парень молчит, очевидно размышляет, затем идет переговорить с надсмотрщицей. Сам он, видимо, из команды, поставляющей мате-

риал. Возвращается ко мне: «Странный ты человек. С капо (так называли заключенных-надсмотрщиков.— *Прим. авт.*) я в ладах. Могу перевести тебя в другой цех, там не так тесно и люди чувствуют себя свободнее, а ты будешь выработывать, сколько сможешь. Капо ничего не скажет. В твоём положении не надо глупить».

Он действует открыто, а вокруг уже шепчутся: ею интересуется какой-то мужчина, по поведению не иначе как функционер из заключенных. И уже любезен со мной капо и покровительственно на меня поглядывает. И никто не угрожает плетью. Заключенный снова меня укоряет: «Посмотри на себя, на кого ты похожа, на голове нет даже платочка. Я дам тебе средство, чтобы поскорее выросли волосы, и одета ты в лохмотья, и деревянные башмаки стоптаны». Чему он удивляется, с луны, что ли, свалился, не знает, где мы находимся?

«Смотри, ею интересуются», — слышу, как говорят обо мне женщины. Но когда заключенный сам принес материал и — чудо! — положил его на наш стол, на меня смотрят растроганно, словно я сошла с небес. С соседнего стола мне предлагают сигарету, наш стол явно привлекает внимание. Хотя меня считают немного странной (не придаю значения происшедшему!), тем не менее хотят быть чем-то полезными. Убеждают сесть поближе к надсмотрщице, там-де мне будет полегче. Но я должна быть начеку и подумать, что может за этим последовать. Одна женщина дает мне понять: у нее есть что мне предложить, если я — потом — захочу обменяться.

В этих условиях очень опасны «передовики», которые выслуживаются. У них появляются

ся сигареты, вообще они создают неприятную атмосферу вокруг.

Опять пришел тот самый заключенный. Говорит, что старался, но помочь мне не удалось, в мужском лагере он моих товарищей-единомышленников не нашел. Задавать вопросы я не рискую. «Можешь сесть за швейную машинку, там не учитывают, сколько ты за день сработала». — «Хорошо», — согласна я, и он указывает мне на другой стол. Там не такой жесткий надзор, много разговаривают, даже хихикают, работниц-ткачих это раздражает, они хотят покоя.

Через два дня новый знакомый исчез. Другой, неизвестный, сообщил мне, что тот больше не придет, его отправили бог знает куда. Затем появился еще один, оба хотят со мной поговорить. Они крайне удивлены, что я была политической, и может быть, я принадлежу к тем, кто считает необходимым продолжать борьбу? Один из них убеждает меня понять: здесь не знаешь, сколько тебе осталось жить, и отпущенное время хотелось бы наилучшим образом использовать. Если бы они были моложе, то верили бы в то, что имеет еще смысл — снаружи или здесь внутри. Теперь слишком поздно.

О себе они говорят, как о стариках, а ведь им не более двадцати пяти.

Сожалеют, что я не разделяю их взглядов и не согласна с тем, что давно все потеряно. На прощание один из них сказал: «Газовые камеры — вот причина, что мы ни о чем больше не хотим знать. Но как потом забыть все, что здесь происходило?»

Я не стала их спрашивать о политических заключенных. Не хотела кому-нибудь навредить.

ЧЕСОТКА

Каждая из нас слышала о нем. Но мало кому выпало на долю такое счастье: получить чудодейственное средство — противочесоточную жидкость! Продавалась она из-под полы, так сказать на «черном рынке», и ценилась на вес золота.

Югославки снова через свою землячку Штиблер смогли на короткое время вытащить меня из смертельной пучины. Меня перевели в швейную мастерскую, находившуюся, к моему удивлению, в каменном здании на территории основного лагеря Освенцим.

Небольшая команда работает в чистом помещении. Нас не бьют и не измываются. Я и не думала встретить здесь нечто подобное. Это как остров спасения. Мы шили для эсэсовского начальства абажуры, в основном шелковые, украшая их различной мишурой. Работа у меня хорошо получалась, я даже предлагала кое-какие декоративные элементы.

В нашей комнате часты разговоры о возлюбленных и женщинах, которые получают поддержку от заключенных-мужчин. Их помощь может быть самой различной, услуги маленькими или большими, порой спасительными, но самая неоценимая — перевод в команду, выполняющую сносную работу, а еще лучше в ту, где можно рассчитывать на получение определенных выгод. Некоторые заключенные-функционеры пользовались «фавором» у эсэсовцев и иногда делали их соучастниками своих планов или же просто подкупали.

Было странно слышать здесь такие слова, как «возлюбленный», «любовь». Как же непре-

одолимо желание перенести в этот ад понятия, естественные в том, другом, внешнем мире. Здесь эти слова звучат неправдоподобно. В этом скрыта попытка завуалировать или по меньшей мере смягчить свое мучительное, униженное положение.

«Иди, с тобой хотят поговорить», — взволнованно сказала однажды мне девушка. «Он поджидает тебя, не будь идиоткой, ему понравились твои глаза».

Действительно, у лестницы внизу, прислонившись к стене, стоят несколько парней, и ни у одного из них я не вижу на одежде цветного уголка, по которому можно определить, к какой категории заключенных они относятся. Нет, на одном все же есть уголок зеленого цвета — значит, уголовник. Парни чувствуют себя свободно, стоят в небрежных позах, достаточно упитанны, в ладно сидящей на них одежде для заключенных и явно не боятся разговаривать со мной. Все это вызывает у меня подозрения. Сверху несколько девушек с любопытством наблюдают за нами.

Один из парней, улыбаясь, говорит: охотно сделал бы для меня что-нибудь, и все только из-за моих глаз, — ведь я, безусловно, в чем-то нуждаюсь. Разговариваем, но мои ответы уклончивы.

Сначала я хотела от всего отказаться, мол, мне ничего не нужно. Я так и сказала ему. Ситуация настолько необычная, что не могу ее понять. А парень крайне удивлен, девушки наверху громко охают. И тогда я вдруг решаюсь: «Противочесоточную жидкость, хотя бы каплю».

«Хорошо, хорошо, — соглашается он, — и больше ничего?»

На другой день он приносит маленький флакон из-под дорогих духов. В нем с наперсток противочесоточной жидкости. Много ли нужно для счастья? Жидкости, правда, слишком мало, и сначала я думала всю ее использовать для себя. Ночью смазала живот и руки, оставшиеся несколько капель передала женщине, лежавшей рядом, которая была безмерно этому рада.

На другой день девушки из команды долго меня корили, называя сущей идиоткой, ведь я могла получить все, что хочу, — масло, мыло...

Возможно, я упустила какой-то шанс, но была убеждена, что поступила правильно и поступить иначе было нельзя.

ОТ ШТЕФФКИ ИЗ МАРИБОРА К ШТЕФФКЕ ИЗ ЛЮБЛЯН

Снова разыскиваю Штеффку. После болезни она очень ослабела и говорила тихим голосом. Горячо убеждала меня не терять мужества. «Мой вид ее пугает», — подумала я и хотела уйти, но она вернула меня и дала головку чеснока. Я тут же ее съела. Чтобы отвлечь Штеффку от печальных мыслей, я безмятежно спросила, чем объяснить, что так много песен посвящено миндалю и ни одной чесноку? А ведь что может быть полезнее и вкуснее чеснока?

Штеффка настаивала, чтобы я встретила с работающей в лагерной канцелярии Штеффи из Люблян, у которой есть возможность облегчить мое положение. Я должна буду сделать все от меня зависящее — если старания Штеффи увенчаются успехом, — чтобы «перед концом суметь из Освенцима сбежать».

Тогда я об этом совершенно не думала и решила, что она бредит. Но Штеффка настойчи-

во продолжала твердить: «Единственный шанс заключается в том, чтобы попасть именно в определенную команду. И ты должна будешь сделать все, слышишь, все, чтобы вовремя ускользнуть». И потребовала, чтобы я твердо пообещала выполнить ее просьбу. Мне стало очень грустно, ибо это звучало как прощание.

Однажды утром на поверке назвали мой номер, и я вышла из строя. Нас, небольшую группу, еще раз проверили, и — приказ: «Двадцати заключенным отправиться в Райско».

В Райско нас встретила заключенная-полька. Увидев меня, была озадачена: «Что? Еврейка? В группе один человек лишний!» И жестко объявила: «Вы здесь не нужны, всем вернуться в Биркенау». Возвращение было грустным, девятнадцать заключенных винили в происшедшем меня. Итак, об этой команде забудь, думала я, все усилия моих югославок оказались тщетными.

В Райско был опытный сельскохозяйственный участок, где культивировали вывезенное из СССР растение из семейства одуванчиков. Его корни содержали каучук, необходимый для того, чтобы «колеса вращались для победы». Производство натурального каучука явилось бы «большим вкладом в победу».

Где-то в начале 1944 г. Штеффку Лорбек, перенесшую сыпной тиф, отправили в неизвестном направлении. Больше я ее не видела. Но ее подруга Штеффи Штиблер настойчиво добивалась, чтобы я все-таки попала в Райско, и в конце концов мне это удалось.

Через некоторое время на поверке снова прозвучал мой номер. Я подумала: ошибка. Но в конторе мне объявили, что небольшая группа

снова отправляется в Райско. Предварительно каждая из нас должна пройти осмотр у врача-эсэсовца. Он осматривает, как ветеринар стадо скота, и требует, чтобы ему показалась каждая в отдельности. Подхожу я, мой номер у него на листе. Вглядывается, что его удивило, может быть, то, что номер относительно старый? Его лицо непроницаемо, но взмахом руки он отправляет меня к отправляющейся группе.

В РАЙСКО

Итак, в первой половине 1944 г. я оказалась в Райско. Принимала нас уже не та злобная полька. Перед кирпичным зданием ожидаем направления в рабочую команду.

Вокруг столпились работающие в Райско заключенные: вдруг среди нас они увидят родственников или знакомых или кто-то принес для кого-нибудь из них весточку.

Ко мне подходит заключенная и предостерегает: не стремись в сельскохозяйственную команду, там самая тяжелая и грязная работа, хорошо бы под крышу, климат здесь плохой, мокро и сыро, а в общем, соглашайся на любую работу, даже если не уверена, что с ней справишься. В Райско действительно лучше, чем в Биркенау, и надо попытаться здесь остаться.

Вскоре появляется молодая женщина в штатском, очевидно жена или приятельница оберштурмбаннführера Цезаря, ответственного за отделение в Райско. Есть ли среди вас, спрашивает она, говорящие по-немецки и одновременно достаточно владеющие французским, чтобы переводить французские тексты? «Владеющие французским?» — вполголоса задаю я сама себе вопрос. Незнакомая заключенная толкает

меня в бок и взволнованно шепчет: «Скажи «да», не раздумывай!» И я выпаливаю: «Да».

Конечно, рискую, но здесь все риск. Меня приводят в небольшую комнату и передают в распоряжение женщины, которая, как вскоре я узнала, готовит докторскую диссертацию. На столе передо мной книга на французском языке, письменный прибор. Меня оставляют одну. Пока не имею конкретного представления, о чем книга, но судя по всему — об одуванчике, коксагызе, в млечном соке которого содержится каучук.

Опытный участок Райско был любимым детищем и увлечением Гиммлера, он мечтал доложить фюреру, что в Освенциме налажена добыча каучука. Здесь в лаборатории работали ботаники, химики и другие ученые из разных стран Европы, были среди них и французы. Отравленный опытами воздух и постоянная смена работающих здесь заключенных ощутимо препятствовали научной работе, иногда полностью ее парализовали. Поэтому здесь применялась несколько иная система принудительного труда.

Я долго не могла сориентироваться в Райско, где многое выглядело нереальным, мне казалось, передо мной какая-то причудливая декорация.

Здесь работали женщины разных национальностей, царил атмосфера общности и товарищества. Все было по-другому, чем довелось мне видеть и испытать раньше, но у меня перед глазами все время был Биркенау, только Биркенау. Во сне я возвращалась туда и пыталась куда-то бежать. В Райско обо мне трогательно заботилась одна чешка, политический единомышленник. Тут были столы, кресла, известный порядок, к моему удивлению, иногда раз-

решалось принять душ. Вода была, правда, холодной, но я все-таки становилась под душ. И думала о Биркенау, находящемся на расстоянии всего в несколько километров...

Однажды из лаборатории до нас донеслись громкие голоса. Мне подали знак молчать и ни о чем не спрашивать, а когда к нам вышла научный сотрудник Елена Лангевин, она рассказала, что приезжал Гиммлер, интересовался ходом научных работ. Докладом Елены остался крайне недоволен и был возмущен «скудными результатами». «Не такая уж вы тупоумная, какой пытаетесь себя представить!» — негодовал он. Был очень груб, унижал ее, но она сохраняла самообладание и каким-то образом выкрутилась.

«Неужели он думает, что я выложу ему все результаты наших работ?» — спросила тогда Елена. «Конечно, в голове у меня кое-что отложилось, но это на *потом*, а не для него».

К заключенным в Райско Гиммлер относился в некоторой мере снисходительно, здесь его задачей было использовать в полной мере научные достижения ученых и решить проблему производства каучука.

Однажды я услышала чудесную песню. Ее пела французенка, и песенку о французском городе Авиньоне потом многие напевали. Немецкий товарищ спела старую французскую балладу о страстной любви и жгучей ревности, король приговаривал к смерти пажа королевы. Мне уже давно не приходилось слышать никаких песен...

Мы, рабочая команда, идем по дороге, путь незнаком. Я спотыкаюсь. Идем долго. Соседка по построению думает, что я очень устала, и

толкает меня: «Не спи, будь повнимательнее!» — «Нет, я не сплю, у меня тяжело на сердце. Руженка, посмотри на дорогу, — говорю я, — посмотри, из чего она сделана...» — «Знаю, — отвечает она, — это шлак, здесь везде дорога усыпана печным шлаком, неужели ты не знала?» — «Нет... Сколько же нужно было для этого тонн шлака!»

Марш по сожженным костям замученных людей. Завтра другие будут маршировать на нашем шлаке. Германия — это крупное предприятие, оно использует все, что только можно использовать, причем высокопрофессионально и не требуется здесь почти никаких затрат.

Проходим мимо пруда, и соседка шепчет мне: разведением рыбы здесь занимаются заключенные. Руководит ими опытный человек, эксперт, в неволе уже двенадцать лет. По словам Ружены, он пользуется различными льготами, его может навещать жена и даже какое-то время находиться с ним.

Не понимаю, почему они не освободили необходимого им специалиста? Жертв заставляют принудительно работать.

Задумываюсь я и над другим: зачем люди, находясь в тюрьме, показывают образцы высокопроизводительного труда? Стычка между Гиммлером и Еленой Лангевин для меня была как бальзам. Вот пример достойного поведения заключенного.

«Заключенные должны работать!» Впервые мы услышали это на пути из Франции в Вену, когда нам пришлось надолго задержаться в одном тюремном клоповнике. Там заключенным, чтобы они не сидели без дела, давали работу. Я договорилась с моим напарником, что

будем работать неторопливо, спокойно, ведь нам, заключенным, нельзя навязать определенный ритм. Мы еще до конца не понимали, что в «третьем рейхе» любая забастовка связана с огромным риском, но еще хватало энергии на то, чтобы притворяться глухими или тугими на ухо. А если работать необходимо, то уж во всяком случае не старательно.

Не везде эти вопросы решались просто. Если заключенные думали, что им необходимо работать как можно лучше и производительнее, то считай, что всем им пришел конец.

ОСВЕНЦИМ ЭВАКУИРУЕТСЯ

Год кончается, и мы еще живы, но войне нет конца — доживем ли до 1945-го, переживем ли?.. Нацистский режим еще держится, и начальство лагеря ведет себя так, будто их порядок сохранится вечно. Полно слухов, что наступление Красной Армии уже не сдержать, а вступление в войну союзников готовит нацистам тяжелые потери и поражение на западе, на юге и на севере. Гитлеровская система должна быть полностью уничтожена, искоренена.

Из уст в уста передается ужасная весть. Зондеркоманда — группа заключенных, обслуживавшая газовые камеры и печи крематориев, — пыталась бежать из лагеря, многие погибли. Для нас это как военная сводка с фронта. Наконец-то в лагере происходит нечто похожее на восстание, хотя оно и не удалось. Мы должны считаться с тем, что фашистская тюремная система будет держаться до окончательного разгрома гитлеровской Германии.

Суровая зима 1944—1945 г. Восточный

фронт все ближе, скоро может дойти до лагеря. Все упорнее ходят слухи об эвакуации Освенцима, никто не знает, что это означает, когда и куда нас отправят. Или хотят в пути всех нас убить?

Несколько женщин из политических подзывают меня (думаю, это руководители маленькой политической группы из представителей разных национальностей). Идет откровенный разговор: они не могли раньше включить меня в состав своей группы, так как ничего не знали обо мне. Но теперь хотят исправить свою ошибку, ибо полностью мне доверяют. И вот доказательство. Группа предлагает нескольким женщинам попытаться перед самой эвакуацией лагеря сбежать, оставаться неподалеку и ждать прихода советских войск. Среди них должна быть и я, австрийка.

Для меня это полная неожиданность. Возможность оказаться свободной, вне лагерных стен, вдруг стала близкой и реальной. Год прошел с того дня, как Штеффи настойчиво уговаривала меня попытаться убежать из лагеря перед *самым концом*. Январь сорок пятого был необыкновенно холодным, и будущее представлялось нам в мрачном свете, так как было полностью непредсказуемо. Многие думали, что, эвакуировав заключенных, эсэсовцы все здесь сожгут, чтобы от лагеря не осталось ни следа.

Настал день эвакуации. Мне удалось ускользнуть за пределы лагеря и спрятаться недалеко в кустарнике. Оглядываюсь, не следит ли кто за мной, могу ли двигаться дальше? И вижу, что сбежавшую, как и я, чешку эсэсовцы уводят обратно в лагерь. Она болела, и ей, конечно, трудно было рассчитывать на удачу.

Я знала, что сейчас в лагере начнется поверка и организуют поиск сбежавших. И чем больше их будет обнаружено, тем свирепее будут эсэсовцы. Что мне было делать? Я решила вернуться в лагерь.

Потом мы ожидали расстрела. Однако перед эвакуацией лагеря тревога начальства была настолько велика, что, казалось, ему не до нас — не прозвучало ни одного выстрела. Все мы были очень удивлены, а в сердцах уже затеплилась слабая надежда, что охрана разбежится. Мы ошиблись, но все же вызванная эвакуацией общая обстановка нас тогда спасла.

Дальнейшие события развивались очень быстро.

Эвакуация заключенных стала «маршем смерти». Улицы, по которым мы шли, были безлюдны, очевидно для гражданского населения это запретная зона. Немоощных пристреливали сразу, они остались лежать на дороге. Ледяной холод тоже делал свое дело, многие замерзли в пути.

В запертых вагонах для перевозки скота мы умирали от голода и жажды. Одни без сознания, у других начались галлюцинации, появилась агрессивность. Передо мной все как в тумане. Возникали видения из прошлого, картины, нарисованные китайской тушью. На них берег моря, деревья, похожие на пальмы, южный ландшафт, залитый светом. Но все в черно-белых тонах, никаких красок.

Как ужасно сидеть в запертом вагоне для скота, в темноте и смраде, слышать постоянные крики и стоны. Тяжелейшая обстановка, но милосердие не покидает нас, и женщины пытаются успокоить друг друга. Среди нас полька, сумевшая унести из лаборатории в Райско бутылку

лочку спирта. В самых тяжелых случаях она совсем уже теряющей сознание женщине вливает в рот несколько капелек алкоголя.

Что будет с нами? Умрем от жажды? От внешнего мира мы полностью отрезаны. Как в тупике, и конца всему не видно. Иногда поезд останавливается, и мы ждем, никто не знает чего. Нам по-прежнему не дают даже воды. Время остановилось, мы перестаем его ощущать. Нацисты все еще кричали о победе, хотя их поражение неизбежно, это вопрос решенный. Убить нас они могут. Но и наше жалкое прозябание невыносимо. Чего я хочу? Хочу лишь услышать стук открывающейся двери вагона и слова: «Принесли воду и кусок хлеба».

Наконец мы слышим вдали грохот. Фронт приближается. Это как послание с островка твердой земли, возникшего из пучины.

Кому удастся на него вступить?

В КОНЦЛАГЕРЕ

РАВЕНСБРЮК-МЕКЛЕНБУРГ

Мы оказались в другом лагере, на севере Германии. Здесь в одном из блоков должны находиться австрийцы. Нахожу наконец нужный барак. У входа меня встречает австрийка и спрашивает, кого я разыскиваю. Отвечаю: австриек. Она хочет знать мое имя, где и сколько я *сидела*. Называю главные этапы моего тюремного пути, а она говорит: «А, это ты, значит, была в «Лизль» и враждовала с надзирателями, мне об этом рассказывали».

Оказывается, обо мне знают. Но кто же им рассказывал? С чувством превосходства она называет имя. Понятно, но почему же она всему поверила и так самодовольно об этом говорит?

Фрау Икс, разболтавшая историю обо мне, сломалась в гестапо на допросах.

Когда вдруг ее поместили ко мне в одиночную камеру, я была неприятно удивлена. Она без умолку рассказывала разного рода случаи, причем совершенно невероятные. Ей очень хотелось узнать, за что я была арестована, о чем меня допрашивали. Я отмалчивалась.

Среди заключенных Освенцима, прибывших в Равенсбрюк, я встретила Герти Шиндель-Нюрнбергер, чему очень обрадовалась. В памяти вновь оживило прошлое. В мае 1941 г. мы были арестованы почти одновременно. Нацисты забрали ее ребенка. С мучительной раной в сердце, не надеясь что-либо узнать о сыне, Герти продолжала борьбу.

Лагерь переполнен, и начальство намерено отделаться от непрошенных гостей из Освенцима, причем как можно скорее, учитывая надвигающийся крах нацистского режима.

Предстоят ремонтные работы на разбомбленных аэродромах. Та-ак. И в последний момент мы должны были умирать «за фюрера», «за конечную победу»! Но многие рассчитывали на возможность ускользнуть из лагеря, работая там, где нет колючей проволоки под током высокого напряжения. На территории лагеря легче встретить смерть. Но мы с Герти тайно договорились приложить все усилия, чтобы нас никуда больше не отправили.

К счастью, Герти встретила хорошего старого товарища, единомышленника, и между нами установилась атмосфера полного взаимопонимания и доверия. Мы были как бы маленькой Австрией. Среди нас — чешка из Вены, мягкая,

милая, заботливая Анни Вавак, тихая Митци Бернер, которая спокойно, словно делала обычное дело, снабжала нас фальшивыми уголками на одежду. Благодаря ей мы как освобожденные на время от работы заключенные Освенцима не подлежали дальнейшей транспортировке. Как же Митци удавалось такое? Я спросила ее об этом, хотела узнать, что она чувствует, идя на риск. Без всякой рисовки или чувства самодовольства она ответила: «Мой фронт здесь, и здесь я веду борьбу». Но мы-то знали, какая для этого нужна самоотверженность и с каким большим риском связана ее работа. Ее слова имели огромную силу воздействия и навсегда запечатлелись в моей памяти.

ЛЕНХЕН ВЕБЕР ИЗ СААРБРЮККЕНА

Для нас с Герти встреча с Ленхен Вебер из Саарбрюккена была полной неожиданностью. Опытная медицинская сестра, она работала в инфекционном блоке санчасти.

В начале лета 1941 г. ее, так же как и нас, арестовали по доносу предателя. Будучи бойцом Сопротивления в Испании, Ленхен, уроженка Саарбрюккена, сохранила в еще не оккупированной южной части Франции связи с австрийскими участниками войны в Испании. Ее страшно угнетала ситуация, сложившаяся у нее на родине, ей, как немецкой социал-демократке, было очень трудно. Ленхен всегда была готова по призыву австрийских товарищей принять участие в борьбе с нацизмом.

Антифашистам угрожала тюрьма или виселица. Ленхен знала это. В тюрьме в Монтобане мы крепко сдружились, и Герти предложила ей

тогда после разгрома нацизма обязательно приехать в Австрию. Она заслужила честь стать почетным гражданином Австрии, и нашлось бы много политических бойцов, мужчин и женщин, которые поддержали бы это предложение.

Обращало на себя внимание, что Ленхен без умолку разговаривала и о многом подробно рассказывала. Я подумала, что она очень одинока, сильно нуждалась и своей разговорчивостью пыталась скрыть беспокойство и душевную тревогу. К тому же она никак не могла утолить мучивший ее голод. Герти поделилась с ней пайкой хлеба, и благодарная Ленхен бросилась ей на шею.

В Равенсбрюке Ленхен оказалась для нас настоящим счастьем. В инфекционном блоке она имела отдельную каморку, где мы могли собираться и свободно беседовать.

Вскоре Герти попала в трагическую ситуацию, ей и двум другим австрийкам грозила казнь. Но австрийские заключенные, объединившись с узниками других национальностей, сумели воспрепятствовать злодейской расправе. Поднявшие голос протеста, конечно, подвергли себя смертельному риску. Но три узницы были спасены. Ленхен укрыла их в своем бараке, твердо рассчитывая, что эсэсовцы, боясь заразиться, не посетят мертвецкую ее блока.

Позднее Герти и несколькими другим заключенным удалось под чужим именем покинуть Равенсбрюк. Представители Красного Креста доставили их в Скандинавию. Предлагали и меня под чужой фамилией переправить туда, но я, столько перенесшая в центре Европы, все-таки хотела находиться в ней и тогда, когда наступит *конец*.

Страх быть возвращенной в Освенцим не оставял меня, и Ленхен предложила остаться в ее инфекционном бараке. Заболеть сыпным тифом я теперь не боялась, так же как и ночевать вместе с больными.

В отличие от атмосферы, царившей в Биркенау, насыщенной страхом, насилием, смертью и убийством, где сама мысль о том, что все можно вынести и пережить, казалась невероятной, здесь я могла мечтать. Я часто мечтала о Вене, о том, как быстрее добраться до нее. Я не думала всерьез ни о Скандинавии, ни о Мексике, куда мне предлагали поехать задолго до начала войны. Я не хотела навсегда расстаться с Центральной Европой.

Герти и мне частенько казалось, что с Ленхен творится неладное. Она непременно хотела подарить уезжавшей в Скандинавию Герти ценную цепочку, настаивая, что там она ей очень пригодится и что мы не представляем трудностей, какие могут встретиться в Скандинавии. Герти решительно отказалась. Если бы цепочку у нее обнаружили, то не только она, но и вся группа заключенных оказалась бы в большой опасности. Не была ли Ленхен вовлечена в различного рода обменные махинации? Многолетние материальные лишения, одиночество и равнодушие окружающих что-то разрушили в ее душе.

Я работала в транспортной команде фирмы «Сименс». Носить тяжести мне было трудно. Некоторым другим работницам, более здоровым и крепким, доставляло удовольствие нагружать меня как можно больше, их это развлекало, и они с любопытством ждали, когда я упаду от непосильной тяжести. Но этого удовольст-

вия я им не доставляла, и симпатии моей, казалось, они вызвать не могли.

Тем не менее было чему удивляться, наблюдая за ними. В тяжелых условиях принудительного труда, голодные и усталые, они искали себе дело, которое бы их увлекло. Они добывали кое-какие материалы, из которых лепили крохотные фигурки разных животных. У меня по сей день сохранилась собачка бледно-зеленого цвета с поводком из красной крученой нитки. Одна женщина делала всякие амулеты, приносившие заключенным большую радость. Эти изделия можно было использовать и как подарки. Терпеливо и с любовью создавали узницы из куска сырья вещицы, либо связанные с воспоминаниями, либо являвшиеся плодом их фантазии. При всех обстоятельствах это укрепляло волю к сопротивлению.

Бывают в жизни моменты, когда ты вдруг оказываешься над пропастью, истоки которой в самой себе. Не знаю, как я оказалась в санчасти. Думаю, меня доставили туда прямо из транспортной команды. Придя в себя, с испугом обнаружила, что нахожусь среди обреченных на смерть. Значит, и меня признали безнадежной. Чувствую фурункулы на теле, один даже в носу. Ко мне подкрадывается смерть, я безумно устала, здесь никого не знаю и всеми покинута.

Фурункулы беспокоят меня. Соседка советует подставить нос под струю холодной воды, пока фурункул не лопнет. Иначе, объясняет она, гной проникнет в мозг, и тогда конец. Конец? Разве само слово «санчасть» здесь не означает для меня смерть? Какая-то опасность от проникновения фурункула в мозг...

И вновь меня охватывает панический страх.

Я давно уже перестала думать о том, что надо причесаться, умыться, я слишком устала и ничего больше не хочу... Как знакома мне эта подкрадывающаяся смертельная опасность, когда ничего уже не имеет значения! Но я должна хотеть причесаться. Должна хотеть жить! Опасность возникнет, если я не причешусь, не промою глаза. Я поднимаюсь. Подставить нос под струю холодной воды решительно отказываюсь. Выход один: идти к Ленхен.

Бегу в ее барак, прошу взять нож, ножницы, все, что в таких случаях положено, и взрезать фурункулы. И хотя от той грубой операции до сих пор сохранились следы, Ленхен — это благословение божье.

Как ответственной по блоку, Ленхен, вероятно, не приходилось страдать от голода, но ей этого было мало, она думала наперед, о трудностях послевоенного времени, когда у нее не будет еды, сорочек, полотенец. Я пыталась убедить ее в необходимости бежать отсюда, говорила о предстоящих длинных маршах пешком и о невозможности в таких обстоятельствах взять с собой большой груз. «И что это за обменные операции, которыми ты занимаешься? Или ты хочешь под конец из-за них здесь погибнуть?»

Как сейчас вижу: она стоит передо мной, маленькая, коренастая, полная решимости, и спрашивает, в своем ли я уме. Нет, она не уйдет отсюда пешком, она поедет домой по железной дороге или на автобусе, об этом позаботится Красный Крест. Она показывает под кровать и говорит: там достаточно всего, что необходимо на первое время *после этого*. Ленхен, мол, еще не утратила разума, она уже не молода и после войны не собирается жить как нищенка. В го-

лодное время надо иметь кое-что для обмена. А у нее под кроватью полный чемодан.

Все ясно. Ленхен спуталась с темными личностями из заключенных. Она показалась мне совсем другой, чужой, и я подумала: «Неужели за эти годы она сбилась с пути?» Мое последнее посещение ее, уже очень больной, было печальным. Мы перестали понимать друг друга.

Ее вызвало начальство. Я отсоветовала ей идти, тем более есть уважительная причина — болезнь. Но ею уже овладела фантазия. Почему-то ей казалось, что ее отпустят. И в конце концов, сказала она, кто знает, что будет с лагерем, наверняка многих освободят.

Ах, Ленхен, Ленхен! Строит иллюзии! Была членом социал-демократической партии, сражалась в Испании, ну с какой стати с ней, немецкой антифашисткой, поступят столь великодушно? «Почему ты думаешь, что накануне собственной гибели они добровольно тебя отпустят? И какими они снабдят тебя документами?»

Но Ленхен ни о чем не хотела слышать. Она опасалась последствий неявки, ведь ее вызывало начальство. Она не хотела использовать привилегию, которую дает болезнь. Обязана повиноваться, и она пойдет.

Я умоляла этого не делать. Режим рушился. В этих условиях мы вовсе не обязаны повиноваться, и вызов можно проигнорировать.

Ленхен не послушалась. На следующее утро она явилась на вызов и не вернулась. В тот день исправно горели печи крематориев. Очевидно, Ленхен была связана с одной из групп, занимавшихся обменом ценных вещей.

Таким жалким оказался конец жизни Ленхен перед самой эвакуацией лагеря. И ведь со-

биралась своевременно покинуть лагерь, эвакуацию которого предвидела. Я думала с ней добраться до Австрии. Нелепая смерть. Ее смерть я, возможно, должна была как-то предотвратить. Ленхен слишком многое пережила и сильно ослабела духом. В конце войны она пребывала в большом душевном смятении, неизвестность, ожидающая всех нас, безмерно ее пугала, и справиться с этим Ленхен не смогла.

Для меня Ленхен Вебер из Саарбрюккена навсегда осталась бойцом движения солидарности с Испанской республикой, прекрасным товарищем, которого мы потеряли слишком рано.

В апреле 1945-го в связи с приближением советских войск подлежал эвакуации и концлагерь Равенсбрюк. Мы не знали, что это означает, и обсуждали возможности бегства. Я и мой товарищ сбежали из лагеря. Бежали и другие. Мы шли пешком, чтобы двигаться быстрее, — таковы были парадоксы того времени.

После многих трудных недель мы добрались наконец до Вены. Этот путь к дому имел для меня огромное значение и очень многому научил.

В те места, где находился концлагерь Биркенау, я больше никогда не возвращалась, никогда больше не была и в Равенсбрюке.

Но когда-нибудь я это сделаю.

МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ

Зачем продолжать разговор на эту тему?..

Долго не хотела я говорить о пережитом, старалась все забыть. Но память о концлагере не давала покоя. Пребывание в нем наложило на меня неизгладимую печать.

Даже если я не хотела думать о Биркенау,

воспоминания вновь приводили меня туда, где на относительно небольшой территории и в течение относительно небольшого периода во все возрастающем, стремительном темпе применялись самые разнообразные способы умерщвления людей — тяжелейшие нагрузки, адский труд, голод, эпидемии, издевательства. Еще более ускоряли конец газовые камеры и крематории.

Так называемые исследователи расового вопроса с давних пор разрабатывали свои чудовищные планы господства «высшей расы». Инженеры, химики, врачи и многие другие специалисты в злобещем и тесном сотрудничестве с гестапо, СС и военщиной участвовали в осуществлении этих безумных планов. Нацистский режим дал сигнал к «окончательному решению» расовой проблемы.

Магнаты промышленности быстро учуяли, какие барыши обещает им программа массового уничтожения людей. Рабочая сила заключенных была дешевой, а прибыль извлекалась даже из человеческих трупов — игра стоила свеч.

Хотя у огромной массы людей отнималось право на жизнь, а вопиющая несправедливость декларировалась как право господствующей расы, многие полагали, что это в порядке вещей. И ныне в резервациях и всевозможных гетто содержатся люди разного цвета кожи, различных вероисповеданий, а представители «расы господ» распоряжаются ими, как собственным имуществом. Многие чернокожие, краснокожие и люди других оттенков кожи, притесняемые, презираемые, беспощадно эксплуатируемые, обреченные на невежество, в преддверии смерти влачат жалкое существование в различ-

ных районах земного шара. Ужасающий террор — преследования, издевательства, голод и унижение человеческого достоинства — имеет целью уничтожить их.

И тогда раздается искушающее предложение: служи мне, и ты сможешь дольше и легче дышать.

Слава тем, кто защищает свое право на существование, на свою землю и свое наследие, право быть человеком!

Именно осознание этого права неодолимо зовет меня в Освенцим-Биркенау, где я так много пережила и потому знаю, какое насилие царит там, где стремятся убить всякое чувство достоинства и солидарности, где человеку отказывают в правах.

**«...ОЧЕНЬ ПЛОХО ТАМ,
НАВЕРНОЕ, НЕ БЫЛО...»**

...Все было иначе до какого-то момента. Возможно, я неправильно отношусь к медицине и больницам, возможно, меня спровоцировали слова врача, но на каком основании он их сказал? Дело в том, что при очередном посещении врача меня спросили, что это за странный номер выжжен у меня на плече?.. Я рассказала, что в концлагере Биркенау умершие заключенные регистрировались не по фамилиям — в списках лагерной канцелярии галочка ставилась против определенного номера, и соответственно уменьшался рацион для блока, в котором этот номер находился.

На это врач мне ответил: «Да-а... Но очень плохо там, наверное, не было, иначе вы не были бы здесь».

Если такое может сказать врач, то что же

ожидать и что можно услышать от рядовых чиновников или представителей администрации различных учреждений? У меня уже не было сил слышать нечто подобное. И я попросила вытравить концлагерный номер.

От бывших заключенных Освенцима мне пришлось выслушать немало упреков.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОЯСНЕНИЙ

Спустя долгие годы меня все еще охватывало чувство ужаса, если я не могла достаточно быстро ходить, например быстро пересечь улицу, — я должна была заново привыкать к уличному движению. Или пыталась бежать, как в лагере, спасаясь от отбора. Сверкающая ледяная поверхность могла меня парализовать, как когда-то зимой на марше в Биркенау, где не дай бог эсэсовец замечал, что у меня не сгибаются колени.

И все-таки я хочу твердо сказать, что *тогда* я была от многого избавлена. Странно звучит, не правда ли? Но это действительно так. Прежде всего, я могла в той или иной степени надеяться, что в последний момент моей семье удалось скрыться и что в лагере смерти я никого из них не встречу. Надежда, имевшая жизненно важное значение.

Когда я, заболев сыпным тифом, лежала как мертвая в санчасти, то именно в те дни в бараках, где размещалась санчасть, не производился отбор заключенных для отправки в газовые камеры.

Меня не использовали в качестве подопытного кролика для медицинских экспериментов и не определили в какую-нибудь самую страшную, разложившуюся команду. Я никогда не

попрошайничала и не хныкала. Я упорно искала своих югославских товарищей и нашла их как партизан, скрывающихся в смертоносных джунглях.

Зачем я говорю об этом? Если спустя многие годы после пережитого я слышу брошенные кем-то слова: «Очень плохо там, наверное, не было», я думаю: очевидно, я должна была пройти через газовую камеру или печь крематория, чтобы иметь возможность доказать факт совершаемых в концлагере преступлений.

Но думать так было бы совершенно неправильно. Почему те, кому выпала крайне горькая доля, должны радоваться, что «еще живы», что по воле случая оказались избавленными от самого страшного. Мне рассказывали, что по возвращении из концлагеря я, увидев дымящиеся фабричные трубы, потеряла сознание — они напомнили трубы крематория. Лишь постепенно дым заводских труб перестал ассоциироваться с чадом печей Освенцима.

Однако по прошествии лет многие реакционеры, «вечно вчерашние», открыто и без зазрения совести выступают в защиту гитлеровского фашизма, поддерживают и финансируют разного рода печатные издания, в которых доказывается, что на «третий рейх» клеветают, что участие в движении Сопротивления означало государственную измену, что насилие и всевозможные ужасы были вызваны условиями войны — их испокон веков вынужден был переживать весь мир, — а все, что касается лагерей уничтожения, является чистой ложью. И то, что еще живы узники концлагерей, лишь доказывает, что, мол, никакого массового уничтожения людей не было.

Поощряется деятельность правоэкстремистских союзов, их щедро финансируют, толкают на всякого рода акции, подобные тем, какие в свое время проводили нацисты. Что же, эти союзы вновь вернут немецкий народ к старому культу и будут выдвигать нелепые требования о возврате к прошлому, демагогически заявлять о «праве на родину»?

В программах многих новых правых движений содержится завуалированное прославление войны. Война вновь якобы должна предстать как некий ритуал, как «святое» дело, как кара «врагов». Кто после этого захочет разоблачать войну как разбой, несущий смерть миллионам?

В более спокойные времена люди, выступающие против войны, рассматривались как мечтатели, их высмеивали. Если они принадлежали к миру искусства, их в лучшем случае терпели как людей весьма далеких от действительности. Однако в трудные времена мы, на Западе, стали свидетелями того, что война и преступления против человечества прославлялись, тех же, кто не желал бить в один барабан с поджигателями войны, клеймили позором как бунтовщиков и мятежников, как «врагов рейха», чтобы принудить к молчанию. Объявили вне закона движение Сопротивления и любую партизанскую деятельность. Открыли «зеленую улицу» любому преступлению против человечества.

Вот почему необходимо говорить об Освенциме-Биркенау.

Только тогда, когда война будет всеми и навсегда признана преступлением против человечества и к ней не смогут относиться как к неизбежному и тем более естественному явлению, массовые преступления против людей будут

рассматриваться как полностью неприемлемые и потому невозможные.

Я много думала над тем, как югославкам удалось переправить меня в Райско, ведь сама я, как известно, не из Югославии и не была в концлагере функционером. Скорее всего, дело происходило так.

В лагерной канцелярии на ответственном участке работала немка-проститутка, и, как полагала Штеффка, ее просьбе пошли навстречу. Ибо у этой женщины было «широкое сердце». Штеффка иногда спрашивала себя, не свойственно ли это качество проституткам вообще? Так вот она, очевидно, разрешила Штеффке вписать мой номер в соответствующий список, а потом смогла шепнуть несколько слов врачу, проверявшему список лиц, подлежащих отправке в Райско. У нее с эсэсовцами были хорошие отношения.

Зимой сорок пятого некий молодой человек хотел или должен был отправиться на фронт, чтобы предотвратить крушение рейха. По улицам города, куда он прибыл, плелись оставшиеся в живых заключенные концлагеря — картина для нашего юноши необычная. До предела измученные, эти грязные создания вызывали у него чувство отвращения.

Крайне удивленный, молодой человек подумал: так вон они какие, недочеловеки. Он слышал о них дома и по радио, но сам никогда их не встречал. Люди так выглядеть не могут, следовательно, это недочеловеки. Если бы этот юноша видел глаза, лицо и весь облик, возмож-

но, своих близких друзей и товарищей, разбитых, истощенных, грязных, растерянно бредущих пленных после поражения под Сталинградом, он, несомненно, отнес бы их к этому же виду живых существ. Гитлер не вывел их, как обещал, из железного кольца окружения, проклял и дал им погибнуть, ибо хотел иметь только победоносные войска.

В колонне узников замыкающий нес в руках лопату, чтобы убирать с дороги умерших в пути. Наш молодой солдат спросил его, откуда он идет и куда направляется.

К его большому удивлению, тот человек свободно заговорил с ним на его языке. «Он разговаривает как обыкновенный человек!» — юноша был шокирован. В тот момент он ничего не мог понять, он оказался на грани искусственно созданной, только кажущейся реальности. Это было время тотального краха, ибо армия, объявившая себя непобедимой, терпела поражение за поражением. На протяжении ряда лет война тоже стала средством одурманивания. Но так как народы, подвергшиеся нападению, упорно защищались, агрессия и вторжение в чужие страны выдавались фашистами за оборону и защиту своей безопасности.

В конце войны многие немцы искренне полагали, что подлинной жертвой являются они сами, ибо оказались перед фактом тотального поражения.

Я шла по городским улицам и с удивлением думала: «Где же они, эти побежденные вояки, тяжелораненые, искалеченные? После первой мировой войны такие производили на нас, детей, страшное впечатление. Что делают теперь

инвалиды войны, те, кто уже не в состоянии держать в руках оружие и не являются полноценной рабочей силой. Как им живется?

Печально, но факт — об этом никто не говорил. Искалеченные герои, кто поинтересуется их судьбой... Кто спросит, что с ними стало?

Вся послевоенная действительность предстала передо мной весьма подретушированной. Не проявили ли мы менее того минимума внимания и заботы, которые должны были оказывать инвалидам, выжившим в адской пучине войны? И не все ли общество в целом должно нести всю полноту ответственности? Иначе обеляются поджигатели войны, словно не у них руки по локоть в крови. Появился спрос на воспоминания о «героизме» и «безрассудной смелости» «храброго» гитлеровского воинства в годы войны. Но слышал ли кто-нибудь внятный рассказ о том, что творилось в военных госпиталях и о положении за линией фронта весной сорок пятого? Только однажды бывший фронтовик без руки намекнул на это и тут же сам перепугался. Больше мы не слышали об этом ни слова. Как же получилось, что огромное количество живых свидетелей, в том числе медицинских работников, смогли промолчать о пережитом на протяжении многих лет?

Спустя десятилетия одна женщина рассказала мне историю, которую услышала в Биркенау. Суть ее такова. Дядюшка одной заключенной, «никакой не наци», служил танкистом на Восточном фронте. Однажды его пушка не смогла выстрелить — заклинило снаряд. Дома, в отпуске, он сказал в кругу своей семьи: «Если бы тот, кто сделал негодный снаряд, попался

мне, я задушил бы его собственными руками».

Все закивали головой в знак согласия — ведь военнослужащий вермахта по вине какого-то человека оказался в опасности. Танкист был убежден, что случившееся — результат акта саботажа, и еще долго ругался, полный жаждой мести...

Почему же он был уверен, что кто-то, может быть мужественный рабочий, осмелился выточить снаряд, не соответствующий нужному калибру? И был готов убить мнимого саботажника — немца или не немца, неважно. Незнакомец работал на военном заводе, был либо свободным человеком, либо военнопленным, либо его пригнали на принудительные работы, а сей дядюшка обвинял его в том, что он преступник или намеренно недобросовестный человек.

И тогда я спросила, как же так, вторгшийся в чужую страну считает, что он там «защищается»? Не справедливее ли признать, что он поразбойничьи ворвался в чужой дом? Представлять его действия как оборонительные — значит все ставить с ног на голову. Так почему же бывший танкист полагает, что у другого человека нет прав? У него самого было право вторгаться в чужую страну?

Вполне возможно, что на каком-нибудь военном заводе мужественные антифашисты пытались изготавливать снаряды, которыми нельзя было стрелять из немецких танков. А дядюшка, «никакой не наци», что, впрочем, вполне вероятно, был полон ненависти к ним и не оставлял мысли убить неизвестного антифашиста. В чем же причина этой упорной, не ослабевающей жажды расправы у человека, не являющегося нацистом? Вопрос, заслуживающий внимания.

ПРЕОДОЛЕННЫЙ СТРАХ

Молодого антифашиста, француза, арестовали и заключили в тюрьму. В его новом состоянии ему нечего было опасаться, он в тюремной камере и думает о друзьях, оставшихся на свободе. Как-ково им, распространяющим нелегальные листовки?.. Он очень жалел их, знал, что такое соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не попасться. Ему было всего семнадцать лет, и, работая с нелегальными материалами, он постоянно испытывал страх. Теперь, когда он оказался под арестом, ужасным страхам пришел конец.

На несколько лет его интернировали, потом переправили в Освенцим. Многие удивлялись, как он, очень слабого здоровья, все это выдерживает.

Потом, спустя годы, он вспоминал, как легко у него стало на душе, когда он понял, что причиной огромного страха была угроза ареста. Но признался в этом лишь впоследствии.

На допросах он не выдал ни одного из товарищей. Терпеливо вынес все.

Он поведал мне свою историю и сказал, что, несмотря на все пережитые им страхи, ни один из его товарищей не пострадал.

ВРАЧ МАНЦИ

После 1945 г. я попыталась отыскать врача, вызволившего меня в Биркенау из трагического положения. И после многих лет поисков нашла ее.

Что я хотела? Только одного — чтобы она знала: в любое время и в любом месте я готова

засвидетельствовать, что бывшая узница концлагеря, работавшая врачом в Биркенау, всячески помогала заключенным, сумев в таком исключительно трудном положении всегда оставаться человеком. Оказаться в концлагере, да еще в роли врача вдвойне тяжело и ужасно, ибо условия таковы, что невероятно трудно реально помочь при почти полном отсутствии самых необходимых медикаментов.

Но и в мирное время, когда пережитые ужасы позади, перед таким человеком возникает немало сложностей, ему могут предъявить совершенно необоснованные обвинения. Что касается тех далеких лет, то вдумайтесь: в дни, когда концлагерь переживал критический момент, заключенная решительно вступилась за другую заключенную, совершенно ей незнакомую — чешка за австрийку, — без каких-либо просьб с чьей бы то ни было стороны и не зная, не повлечет ли это за собой самые опасные последствия... Следовательно, такой случай был не единственным, и несомненно, она и в иных ситуациях заступалась за заключенных, фактически спасая им жизнь.

Манци была политической заключенной. Я находилась в совершенно безвыходном положении, и кто мог предоставить мне хотя бы один шанс?.. Она пошла на все, чтобы сохранить мне жизнь, взяв на себя весь риск за такое решение.

И вот мы встретились. Манци сказала, что случая со мной не припоминает. Для меня это было лишним подтверждением, что она помогала многим. После войны к ней приходили благодарственные письма, в том числе из-за границы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОСВЕНЦИМ (СПРАВКА)

Крупнейший лагерь массового уничтожения людей занимал территорию свыше 40 квадратных километров. Строительство его началось 20 мая 1940 г. В ноябре 1943 г. был расчленен на три лагеря:

основной лагерь (Освенцим-1), где содержались в среднем 18 тысяч заключенных;

концлагерь Биркенау (Освенцим-2), где содержались в среднем 36 тысяч заключенных; максимальная их численность достигла в 1942 г. 140 тысяч; всего зарегистрировано 363 тысячи человек, из них 280 тысяч умерли;

концлагерь Моновитц (Освенцим-3) с 1942 г. поставлял рабочую силу для Буна-верке концерна «ИГ Фарбен». В лагере в среднем находились 15 тысяч заключенных, общее число жертв — 30 тысяч человек.

Первые расстрелы заключенных Освенцима начались 22 ноября 1940 г., с августа 1941 г. заключенных умерщвляли, впрыскивая им яд.

3 сентября 1941 г. — первые массовые убийства отравляющим веществом «циклон Б», производство которого было налажено на предприятиях концерна «ИГ Фарбен». Медицинский эксперимент проводился на 600 русских военнопленных.

23 марта 1942 г. в концлагерь прибыл первый транспорт из Западной Европы, началось выполнение программы под кодовым названием «Окончательное решение».

С 23 июня 1942 г. до 2 ноября 1944 г. — массовое уничтожение в газовых камерах евреев и

20 тысяч цыган почти из всех стран Европы.

18 января 1945 г. — последний марш эвакуируемых;

26 января 1945 г. — приказ об уничтожении крематориев;

26 января 1945 г. — бегство эсэсовцев;

27 января 1945 г. — Красная Армия освободила 2819 оставшихся в живых больных узников.

По свидетельству бывшего коменданта Освенцима Хёсса, за время его управления лагерем было уничтожено 2,5 миллиона людей в газовых камерах (преимущественно евреев) и 500 тысяч в других отделениях лагеря.

Общее число жертв Освенцима — около 4 миллионов.

НАДПИСЬ НА ВОРОТАХ

ОСВЕНЦИМА: «Работа делает свободным»

БАРАК ТИПА «КОНЮШНЯ»

В Освенциме-Биркенау было два типа барачков для заключенных. Тип «конюшня» первоначально предназначался для «52 лошадей или 550 заключенных», позднее для 744 заключенных.

Фактически каждый тип барака вмещал до 1000 заключенных.

ДОКУМЕНТЫ

Выдержки из писем «ИГ Фарбен»:

«...В связи с проверкой эффективности нового снотворного препарата, мы были бы вам благодарны, если бы вы позаботились о надлежащем количестве женщин...»

«...Получили ваш ответ, считаем, однако, цену 200 марок за одну женщину чрезмерной.

Предлагаем максимум 170 марок. Если вы согласны, можем принять 150 женщин...»

«...Подтверждаем получение письма, в котором вы выражаете согласие с нашим предложением. Подготовьте для нас 150 женщин хорошего состояния здоровья. По получении вашего сообщения о готовности к отправке женщин мы немедленно организуем их прием...»

«...Получили заказанных нами 150 женщин. Несмотря на то, что они в плохом состоянии, мы их принимаем. Будем держать вас в курсе об успехе проводимых нами мероприятий...»

«...Опыты проведены. Все подопытные объекты умерли. В ближайшее время уведомим Вас о новых поставках...»

ПРЕЙСКУРАНТ

Плата за квалифицированного рабочего — 4 марки в день. Плата за подсобного рабочего — 3 марки в день.

Ежедневно в лагерь прибывало 20 вагонов.

Содержание груза: мужские костюмы, женская одежда, обувь, ковры, предметы домашнего обихода, деньги в различной валюте.

Цена за килограмм волос — 50 пфеннигов.

Фолкер фон Тёрне

ЧИТАЯ ГАЗЕТЫ

Газеты кричали: красные лгут,

В концлагерях тишь и уют...

Только сестренка всем куклам на грудь

Пришила желтый большой лоскут.

(В оккупированных гитлеровцами странах евреи были обязаны носить желтую шестиконечную звезду.—
Прим. перев.)

ПРИГОВОРЫ

В 1965 г. во Франкфурте-на-Майне бывшим нацистским преступникам были вынесены приговоры за преступления во время второй мировой войны. К различным срокам наказания приговорены:

Р. К. Мулка, виновный в убийстве по меньшей мере 3 тысяч человек, — к 14 годам тюрьмы;

Ф. В. Богер, виновный в убийстве более 1100 человек, — к пожизненному заключению;

Ханс Штарк, виновный в убийстве более 300 человек, — к 10 годам заключения;

К. Х. Дилевски, виновный в убийстве более 1500 человек, — к 5 годам тюрьмы;

Перри Брод, виновный в убийстве более 2000 человек, — к 4 годам тюрьмы;

Бруно Шлаге, виновный в убийстве по меньшей мере 80 человек, — к 6 годам;

Франц Хофман, виновный в убийстве по меньшей мере 2200 человек, — к пожизненному заключению;

Освальд Кадук, виновный в убийстве по меньшей мере 2000 человек, — к пожизненному заключению;

С. Дарецки, виновный в убийстве по меньшей мере 8200 человек, — к пожизненному заключению;

Ф. Б. Лукас, — виновный в убийстве по меньшей мере 4000 человек, — к 3 годам тюрьмы;

В. Франк, виновный в убийстве 6000 человек, — к 7 годам тюрьмы;

Ф. Капезиус, виновный в убийстве по меньшей мере 8000 человек, — к 7 годам тюрьмы;

Й. Клер, виновный в убийстве по меньшей мере 2900 человек, — к пожизненному заключению;

Х. Шерпе, виновный в убийстве по меньшей мере 900 человек, — к 4,5 года тюрьмы;

Е. Хантль, виновный в убийстве по меньшей мере 380 человек, — к 3,5 года тюрьмы;

Е. Беднарек, виновный в убийстве 14 человек, — к пожизненному заключению; и другие.

Большинству осужденных зачтено время нахождения под следствием.

Из книги: *Axel Böing. Auschwitz, Unterrichtseinheit für den Schulgebrauch Demokratische Lehrinhalte.* Frankfurt/Main, 1976.

Каждый из находящихся в лагере рабов приносил ежедневно доход в размере 6 марок (без предварительного вложения капитала), а за вычетом стоимости питания и износа одежды — 5 марок 30 пфеннигов.

Из расчета средней продолжительности жизни заключенного в 9 месяцев доход от одного человека составлял, таким образом, 1431 марку ($5,3 \times 270$).

Кроме того, следует учесть дополнительный доход за счет рационального использования трупов заключенных, а также денег и ценных вещей, отобранных у заключенных.

Таким образом, один заключенный приносил рейху доход в сумме 1630 марок.

Тот или иной концлагерь получал дополнительный доход за счет использования костей и пепла заключенных, сожженных в печах своего крематория.

Да не подумает читатель, что приведенные расчеты произведены мною. Они сделаны весьма сведущими экспертами из СС.

Из книги: *Eugen Kogon. Der SS-Staat.* München, 1974, S. 357—358.

**МАЛИ ФРИТЦ
ГЕРМИНЕ ЮРЗА**

НАЗАД В ЖИЗНЬ

**Mali Fritz
Hermine Jursa**

ES LEBE DAS LEBEN
Tage nach Ravensbrück

**Verlag
für Gesellschaftskritik**



В ТОМИТЕЛЬНОМ ОЖИДАНИИ

В апреле 1945 г. в концентрационном лагере Равенсбрюк под Фюрстенбергом, в 80 километрах севернее Берлина, еще находились 15 тысяч заключенных, в том числе больные и полностью истощенные — живые тени. Мы дожили до конца войны: фронт быстро приближается. Каждый день распространяются новые слухи, но все ждут — придет ли освобождение? Нет, нас хотят увезти, и никто не знает куда. Один эсэсовец, сам боясь возмездия, дал понять, что запланировано взорвать нас вместе с заводом боеприпасов... Удастся ли узникам выбраться отсюда, если сами эсэсовцы собираются бежать? Мы не знаем, как далеко до линии фронта, но гром орудий уже слышен.

Подписан приказ об «эвакуации» Равенсбрюка. Опять это туманное выражение, кто разъяснит, что оно означает на гестаповском жаргоне? Скоро мы выйдем за ворота — а потом? Я уже была однажды «эвакуирована» — в январе из Освенцима. Сколько же тогда узников, которых эсэсовцы гнали, как скот на бойню, вскоре окончили от холода! Многих, обессиленных от голода и мучений, пристреливали, и они кончали свой путь на обочине дороги...

28 апреля все узники, еще способные передвигаться, должны были построиться. В лаге-

ре оставались лишь тяжелобольные. Мы, австрийки, образовали свою группу. Я примкнула к товарищам, которых едва знала, ибо моих старых знакомых в этом лагере уже не было.

Эсэсовцы пьяные, конвой распустили, охранять колонну обязали самих заключенных. В концлагере хаос.

Выйдя из лагеря, мы идем по улице, по которой движется поток беженцев. Нас ничто от них не отделяет — ни стена, ни колючая проволока. Еще вчера мы были для многих проклятыми изменниками, кто мы для них сегодня? Но беженцы не обращают на нас внимания. Может быть, все еще есть стена, мешающая нас заметить? Не думали, что встретим равнодушные. Несмотря на общий развал, мы остаемся замкнутой колонной заключенных. Несколько человек выскакивают из строя, куда-то бегут, может быть, последовать их примеру? Чувствуем, сейчас это возможно. Но можно ли рассчитывать на помощь местного населения? Хорошо бы.

Наконец короткая остановка. Бесперывный грохот орудий. Он пугает нацистов, режим террора рушится. «Прорвались танки», — шепчет одна узница другой. «Не пора ли нам исчезнуть?» — советуемся мы вчетвером и придвигаемся поближе к кустам и деревьям. Заметив это, к нам подходит эсэсовец. В его тоне, которым он задает вопросы, не чувствуется, как ни странно, прежнего всемогущества. Я втягиваю его в разговор, и он снисходит до того, чтобы я рассказала ему немного о себе. Он кажется сочувствующим, и тогда я спрашиваю, почему мы должны куда-то уходить из лагеря? Эсэсовец молчит. Не ждет ли он чуда?..

От побега вчетвером отказываемся, мне кажется это делом сомнительным. Надо поступить иначе.

Две женщины из нашей четверки, дружившие годы, имели собственные планы, о которых не хотели говорить. Они незаметно отделились от нас, и я осталась с Герми. Тех двух я немного знала, а Герми — совсем нет. Но не в этом дело. Сейчас надо было выстоять. Я давно уже решила, что после краха нацистского режима придется идти домой пешком. Начнутся массовое бегство и «эвакуация» — о каком транспорте можно будет тогда мечтать? И то, что я вижу сейчас на дороге, убеждает в правильности моего решения. Поначалу надо затеряться среди беженцев и переодетых, явно не гражданских, лиц, а потом разработать свой план. К счастью, в последнее время на нас, узниках, была только гражданская одежда, а концлагерную маркировку на платьях мы прикрыли мешками, которые приспособили вместо рюкзаков. Их заготовили заранее наши товарищи.

Мы с Герми пытаемся нырнуть в поток беженцев, но какая-то эсэсовка хватает нас за шиворот, орет. Мы смотрим удивленно и глупо, как бы не понимая, что она от нас хочет, и возвращаемся в колонну. «И все-таки мы снова попробуем, Герми». Но эсэсовка снова нас схватила и втолкнула в строй. Однако мы не сдаемся, еще раз выскальзываем из рядов, быстрым шагом проходим мимо головы колонны. Только не оглядываться, только вперед, торопливо, как и другие беженцы, в панике стремящиеся неведомо куда.

ВОЛНЕНИЯ, ТРЕВОГИ И — ТИШИНА

Нас никто больше не останавливает. Стемнело. Свет от автомобильных фар пугает, но он лишь ощупывает дорогу. Стремительно и молча идем дальше, скорее, скорее вперед. Порой кто-то осветит нас карманным фонарем, но мы ни на что не реагируем, нас ничто не касается. Скорее в лес, спрятаться, укрыться. Притаившись около кустов, прислушиваемся. Кругом тихо. Тихо и спокойно. Побег удался.

Теперь быстрее прочь отсюда, как можно дальше от того, что осталось позади, тогда никакой патруль не догонит, никто на нас не донесет. Близится конец войне, и я как бы сбрасываю с себя самый тяжелый груз — прожитые страшные годы. И Герми чувствует себя свободной, совсем свободной, она счастлива.

Мы не можем сориентироваться, еще не обрели чувство времени и пространства. Проселочная дорога ведет к маленькой деревне. Герми определяет сторону света — важно не сбиться с нужного направления. Видим, что перед одним из домов беспокойно ходит взад-вперед мужчина. Возможно, он мог бы нам помочь, но нет уверенности, что нас не услышит еще кто-нибудь и не поймет, что мы из концлагеря — ведь он совсем недалеко. Присев в лесу, мы договорились, как отвечать на вопросы: идем с северо-востока, уже давно в пути, при бомбардировке — нет, при бомбежке — мы все потеряли. Наш внешний вид должен говорить, что мы запуганы, растеряны и вряд ли понимаем, о чем нас спрашивают...

К нам подходят два эсэсовца. Что это, проверка, нас ищут? Нет, они вылавливают дезертиров, не желающих защищать свой фатерланд, нуждающийся в спасении. Мы же — полностью обессиленные девушки, мы лишь хотим домой. «Из Остмарка (так называли немецкие фашисты Австрию после аншлюса)? — переспросил один. — Ну тогда вам топать и топать». Они пошли дальше, у нас отлегло от сердца, но коленки дрожали. Вдруг эсэсовцы потребовали бы документы?

Тишина обманчива. Везде снуют вервольфы (оборотни — члены сформированных в конце войны террористических фашистских групп). Как кровавые псы, гоняются они за всеми, кто не хочет умирать за призрачный гитлеровский фатерланд. Они видят нас, и будь мы мужчины, наверняка пропали бы. Поисковые группы реагируют быстро, за двумя-тремя смертоносными выстрелами дело не станет.

Подходят к нам. Мы снова говорим о возвращении домой, а они о своем — о стариках, желающих отсидеться в кустах, о молодых, еще готовых биться с врагом. Но едва я пытаюсь что-нибудь узнать о положении на фронте, они замолкают. Насторожились, видимо, удивлены, что их расспрашивают без причитаний и слез. Тот, что помоложе, рассказывает: хочет пробраться в Гамбург и там примкнуть к вервольфам.

Наконец они уходят, а нам ясно одно: фашистская система «покорности и порядка» еще действует. Эсэсовцы все еще чувствуют себя вполне уверенно, и горе тем, кто перебегает им дорогу. Культ фюрера и муштра сделали свое дело. Фронт приближается, но нацисты полны надежд на победу рейха.

Мы продолжаем путь и вдруг замираем от страха: на дороге, прислонясь к дереву, стоят те же эсэсовцы и, кажется, ждут нас. Скрыться невозможно, спокойно подходим. Нет, они только спрашивают, куда ведет дорога, но мы этого не знаем. Хотим повернуть налево и избавиться от них — боимся их...

Люди в военной форме гонят перед собой коров, кажется, это тоже эсэсовцы. Они угоняют все, что можно. То, что остается, пусть погибает.

Мы отдыхаем в лесу, спрятавшись за кустами, и вновь цепенеет от страха, видя, что приближается небольшая группа людей. Что это, патруль, охранники из Равенсбрюка, сбегавшие или ищущие сбежавших? Но они проходят мимо, не заметив нас. Какое счастье, что они без собак! Я видела — лучше бы не видела, — как по приказу эсэсовцев собака зубами впивается в ногу заключенной.

На волю, в гущу жизни! Я хочу жить. У меня это как заклинание. Я всегда верила, что фашисты будут побеждены и разбиты. Никто из нас, заключенных, не знал, доживет ли до этого часа, я знала одно: хочу дожить, хочу увидеть победу!

Дорога идет юго-западнее деревушки Витвин. Замечаем большое имение с надворными постройками. С возвышения видим город и поражены — он предстает как театр военных действий. Кружат самолеты, над несколькими кварталами поднимаются дым и пламя. Садимся под деревом, смотрим вниз, вверх и вдруг слышим пронзительные женские голоса: «Прочь оттуда, погибнете!» Это кричат нам *не заключенные*. После долгих лет изоляции на нас

впервые обратили внимание гражданские лица. Ложимся плашмя и пережидаем. Самолеты улетают.

К нам подходит девушка лет восемнадцати. Ей, видимо, льстит, что мы наивно смотрим на нее, она готова нам все объяснить: там, внизу, находится Райнсберг, его только что освободили, теперь нечего опасаться. Сама она из Ораниенбурга, здесь вместе с матерью и сестрой. Беженцев много, но сарай, где все прячутся, достаточно большой, нашлось бы место и для нас — надо только спросить разрешения у эсэсовцев.

— Они еще здесь? — спрашиваю я как бы между прочим.

— Да, появляются здесь ненадолго.

Непонятно, почему эсэсовцы следят за беженцами и решают, могут ли они получить пристанище. Но у нас нет выбора, нам необходима крыша над головой.

Герми ушла, мы без слов поняли друг друга. А девушка настойчиво продолжает уговаривать: здесь относительно спокойно, не так уж плохо, нам лучше остаться. От ответов на ее вопросы я уклоняюсь, говорю мало, только бы не выдумывать новые истории.

А вот и Герми, успокаивающе улыбается: «Место для нас я нашла». Она умеет быстро завоевывать доверие людей.

Мы входим в сарай, большой, как вокзал. Беженцев действительно много. Из рассказов узнаем, что многие не хотят идти дальше, в лесу они вырыли землянки и намерены забраться в них, как только появятся русские, ведь тогда, рассуждают они, ничего другого не останется, кроме как поглубже з'упрятаться. Но другие бе-

женцы хотят уходить на Запад. Ни молодая девушка, ни стоящие вокруг нас женщины не верят, что нацисты еще могут победить, им кажется, что все пропало. Советские войска слишком далеко продвинулись, помешать им Гитлер не сможет, чуда не произойдет.

Появились эсэсовцы, забирают у беженцев мотоциклы, велосипеды, выводят лошадей из конюшни. Лихорадочно деятельны, исчезают и вновь приходят. Прибирают к рукам все, что могут, запугивают людей, потерявших голову от страха, делают вид, что ищут дезертиров. Никто не ропщет, не пытается помешать эсэсовцам. Нас принимают за переселенцев, задержавшихся в пути. Мы же стараемся не обращать на себя внимания.

Эсэсовцы шумят, беснуются, угрожая оружием, заставляют жителей деревни сорвать белые флаги и предупреждают, что за демонстрацию предательства всех перестреляют. Белые полотнища быстро исчезают. Почему же люди терпят издевательства, ведь они легко могли бы справиться с озверевшей кучкой нацистов!

Под крышей сарая нашли пристанище не только немцы — здесь и насильно угнанные, и военнопленные разных национальностей. Многие достаточно пострадали за годы войны. Но незаметно, чтобы немцы хотели общаться с немцами. Нас это удивляет, как и то, что незаметно ни малейшего признака сопротивления эсэсовцам. Подождем, может быть, удастся поговорить об этом откровенно.

Пройдут годы, и мало кто на Западе отважится признать, что эсэсовцы занимались грабежом и насилием, — это будет обойдено молчанием даже теми, кто был их жертвой, это станет

вроде бы не стоящим упоминания. Но будут распускать слухи, что Красная Армия забрала все, что можно было взять.

Нас предостерегают: не следует идти в сторону Райнсберга, там советские танки. Но мы хотим встретиться с советскими солдатами и дожидаться окончательного поражения фашистов. Тогда мы сможем продолжать путь в родные края. Успокаиваем женщин — некоторые из них в панике собирают вещи и хотят спрятаться в лесу. Спрашивают, не пойдём ли и мы с ними. Нет, зачем нам прятаться? Это вызывает удивление, наше спокойствие их озадачивает. Несколько женщин слезливо причитают: Гитлер сначала обещал немцам рай, а потом бросил в беде, так, выходит, что он не любит свой народ? Они ждут сочувствия, хотят, чтобы и мы считали их пострадавшими, ведь Германия терпит в войне поражение. Всхлипывая, беженки говорят, что мужья никогда не рассказывали им о Сталинграде. Они всерьёз думают, что в отношении немцев чинится несправедливость.

Их слова как ледяной душ. Сейчас, когда рушится их мир, они обвиняют Гитлера только в том, что он не сдержал своих обещаний.

Мы повторяем: война должна закончиться и нечего нам бояться... На нас обращают внимание, подходят ближе, хотят узнать, что мы намерены делать дальше. Кёльнцы — их тут целая семья — мечтают поскорее добраться домой. Нам дают понять, что у них кое-что припрятано, хватило бы и на нас, говорят, что в лесу безопаснее и нам тоже надо там укрыться. «Зачем нам прятаться?» — снова спрашиваем мы. Но нас, видимо, принимают за не совсем здоровых людей.

Страх перед ужасами войны, о которых беженцы до сих пор ничего не хотели знать, скрывает их. Хотелось бы услышать, о чем они думают, но они молчат.

Из разговоров выясняется, что тут есть поляки, латыши, французы. Кто-то старается разузнать, когда подойдут сюда части Красной Армии. Наконец узнаем, что одна из них уже на подходе. Услышав это, молниеносно скрылись девушки и многие беженцы — забрались наверх под крыши, спрятались в сене. Несколько женщин жмутся к нам, от нас как бы исходит антистрах. Потом кто-то говорит, что советские солдаты пошли в другом направлении и сюда не придут.

Разговариваем с поляками и французами о здешней обстановке, просим посоветовать, как нам поступить. Правда, мы не сказали им, откуда идем. Замечаем, что беженцам кажется подозрительным наше свободное общение с иностранцами, и нас начинают сторониться.

В это время местные жители опять вывешивают белые флаги. Теперь на этот символ капитуляции смотрят как на божество. Речь ведь идет о том, говорят некоторые возбужденно, чтобы русские не расстреляли нас сразу! «Они нас всех расстреляют», — бормочет какая-то старушка. Мы спрашиваем: зачем им это делать? Ответа нет, на лицах удивление. Нам объясняют: пора бы знать — от русских ничего другого не ждут. Вот они плоды геббельсовской пропаганды. Изо дня в день им вбивали в голову подобные мысли. Мы же полны ожидания, и на душе у нас праздник.

Снова беседуем с иностранцами. Это молодые люди, как и мы, они ждут окончательного разгрома фашистов и хотят вернуться наконец домой. О нас они говорят, что мы слишком самоуверенны и лишь храбримся, что дойдем до Австрии. У нас, мол, нет представления, с какими трудностями встретимся в пути, какие опасности подстерегут нас буквально на каждом шагу.

Все больше убеждаемся: беженцы уверены, что они жертвы катастрофы — для них она только что разразилась, — что войну на них навлекли русские. Забыли, кто ее начал. И вдруг — тотальный разгром... Но сейчас они не в состоянии понять происходящее.

Свершилось, Виттвин наконец освобожден. Эсэсовцы больше не придут. Мы рассказываем полякам и французам, откуда мы. Они все поняли и тут же поделились с нами своими скудными запасами продуктов. Уговаривают не идти дальше одним, а подождать, пока появится транспорт, которым можно воспользоваться. Француз предлагает нам толстую пачку германских марок, но мы отказываемся. Ничего не хотим извлечь для себя лично из нынешней ситуации, мы выжили, и это главное. Верим, что теперь все изменится. Невозможно представить себе, что после разгрома нацистского рейха магнаты и банкиры, заправили этой системы, ее генералы и другие рьяные приверженцы вновь будут командовать. Мы хотим домой, в Австрию, к чему в этом хаосе нацистские деньги?

Так мы думали. Но, оказывается, ошибались.

ОНИ ПРИШЛИ

Беспокойная ночь. Все прислушиваются, чего-то ждут. Наконец наступает день. Латыши приносят известие: русские скоро будут здесь. Сегодня вторник, 1 мая.

Вот они два красноармейца на конях. На немецкой земле после долгих тяжелых военных лет остановились посреди двора усталые солдаты на усталых конях, серые-серые, будто вылинявшие, стоят неподвижно, словно тут давным-давно.

Герми и я подбегаем к ним и, сияя, приветствуем. Тот, что помоложе, удивлен, а старший смотрит строговато. Поняли они меня или нет? Войне конец, говорю я, мы свободны, сегодня 1 Мая. Строгий говорит: «Хорошо». — «Где же люди?» — спрашиваю я себя и оборачиваюсь. На значительном удалении от нас группа из нескольких человек, а одна женщина с ребенком на руках, увидев солдат, пускается прочь. «Почему женщина убегает?» — спрашивает молодой озадаченно и смотрит ей вслед. У него удивленное мальчишеское лицо, рот полуоткрыт.

Все происходит совсем иначе, чем представляли себе беженцы и местные жители. Конец войны их фюреры лживо разрисовали совсем по-другому.

Кому-то из беженцев вдруг «стало ясно»: мы обе не кто иные, как разведчицы. Просто невероятно, но объяснить им что-либо не удастся. Наперебой торопятся они рассказать нам о припрятанных ими ценных вещах, велосипедах. Нам странно и дико слушать их, но мы, вырвавшиеся из ада, молчим. Они не могут понять,

почему их «сокровища» нас не прельщают. Да и как им объяснить пережитое, нашу судьбу, судьбу Герми, которой повезло, что ее арестовали еще в 1939 г. Случись это годом позже, ее казнили бы на гильотине. Герми была замужем, любила мужа, его арестовали вместе с ней, а затем почти через год выпустили — нацистам нужно было пушечное мясо.

Нацистский террор свирепствовал, его методы становились все изощреннее, и это затрудняло борьбу антифашистов. Везде господствовал страх. Он подавлял многих, они молчали, а потом даже не удивлялись, когда друзья и близкие объявлялись «неполноценными», когда их травили и они исчезали. Каждый боялся, не произойдет ли то же самое с ним. И муж Герми от нее отказался, бросил, как ненужный хлам. Официальное сообщение о расторжении брака явилось для Герми ударом. Она потеряла самого близкого человека, а с ним и свой дом. Верность надлежало хранить только фюреру...

Оставаться в Виттвине больше не имело смысла. Француз предложил поискать в доме, в сундуках что-нибудь подходящее для нас. Но мы отказываемся.

Красноармейцы уехали. Немного погода появились два офицера на открытой конной повозке — «осмотреться». В имени должен быть интересный подвал, черт возьми, ведь сегодня праздник, 1 Мая. Мы спрашиваем офицеров, как бы нам поскорее выбраться отсюда. Им о нас уже известно, они советуют взять в конюшне пару лошадей, дают нам буханку хлеба. Совет их мы не принимаем. Нам кажется, что верхом на лошадях мы привлечем к себе больше

внимания и трудно будет доставать лошадям корм. Русские смеются над нашими возражениями, они их забавляют.

Сумерки. Чувствуем, что вечер и ночь будут беспокойными — видимо, в подвалах много вина. Сидим в сарае затаившись. Один из солдат открывает ворота и неуверенно подходит к нам. Я вскакиваю и говорю, что ему надо уйти, «бабушки» хотят спать. Несколько русских слов производят на него впечатление. Провожая его, и он рассказывает, что сам из Сибири, теперь хотел бы одного: вернуться домой. Но пока это сделать невозможно. Он старается не показать, что выпил, хотя пошатывается, а слова растягивает. Подходит, покачиваясь, еще один солдат, которого я тоже прошу уйти. Он огорчен. Но с ним говорят по-русски, и это развязало ему слегка заплетающийся язык. Удастся понять, что он из Ленинграда. Громко, почти крича, он говорит: «Жена убита, дитя убито, дома больше нет, нет ничего, аллес капут». Я прошу его успокоиться, он всхлипывает и шепчет, что в Ленинграде никого из своих уже не найдет. Потом солдату показалось, он видел меня раньше и теперь узнал... Я его не припоминаю — может быть, это тот строгий, что был на коне? Забираю у него бутылку и разбиваю о стену. «Хватит», — говорю я. Звон стекла подействовал, солдат старается держаться уважительно. Быстро говорю ему о другом, о 1 Мая. Лицо его становится торжественным, и он уходит, но вскоре возвращается. Запинаясь, опустив глаза, он открывает мне душу.

Сражаясь за свою Родину, он думал, что если доберется до Одера, то все на своем пути будет крушить и уничтожать — пусть немцы на

себе почувствуют горе и страдания осажденных ленинградцев, миллионов советских людей. Он жаждал отплатить за убитых, замученных, погибших от голода. И вот он здесь, на немецкой земле, его армия бьет фашистов, а ему внушают: не надо мстить за убитых, за блокаду Ленинграда, за голодных, за умерших жену и детей. Одно дело — фашисты, и другое — немецкий народ. Вот так... Он уходит.

Когда-то я запомнила несколько русских слов. Правда, мой словарный запас слишком беден, но сейчас и он неocenим. С теплыми чувствами вспоминаю двух русских женщин, которые вместе со мной находились в концлагере Рьёкро-на-Лозере, в Южной Франции, и где мы, заключенные, организовали своеобразные курсы. Одна из них, русская эмигрантка, арестованная как член группы «Друзья Советского Союза во Франции», предложила мне давать ей уроки английского. Взамен я предложила ей давать мне уроки русского. Когда ее перевели в другой лагерь, я продолжала взаимные уроки с пожилой красивой женщиной, которую называла под впечатлением от книг Толстого русской княгиней.

Завтра мы с Герми пойдем дальше, без попутчиков — не хотим, чтобы нас повернули на запад. Французы и поляки советуют остерегаться засад немецких фашистов, разрозненные части которых все еще стремятся сдержать наступление. Мы можем наткнуться на мины.

Как бы ни предостерегали нас, мы все же пойдём дальше, домой, в Австрию. Объясняю, что я пережила ад Освенцима, поэтому пеший путь домой, каким бы тяжелым он ни был, меня не пугает. На прощание нас угощают.

Мы продолжали путь, однако вскоре пришлось вернуться — оторвалась подошва моей обуви. Помог польский товарищ, кое-как прикрепив ее. Потом он забежал в дом и вернулся с парой здоровенных ботинок — меньших не нашёл. К сожалению, мы вовремя не подумали о том, что в имении можно было найти маленькую ручную тележку.

ПРИЕМ НА ОБОЧИНЕ ДОРОГИ

Под Райнсбергом расположилась группа советских солдат. С удивлением смотрим на них — победителей, отдыхающих на обочине дороги. Моросит, мы не очень спешим, да и не знаем, куда ведет дорога. Нашему появлению тоже удивлены, офицер спрашивает, откуда мы и что нам надо. Каждое сказанное нами по-русски слово как волшебная палочка. Офицер приглашает присесть на разостланном одеяле, а солдат расстилает перед нами на влажной земле чистую белую скатерть, ставит стаканы в серебряных подстаканниках, наливает горячий чай, предлагает сахар, сало и хлеб. В общем, нам устроили настоящий прием.

Офицер просит подробнее рассказать, откуда и куда мы держим путь, и когда мы решительно заявляем, что хотим поскорее попасть в Вену, но не знаем как, он смеется. Пугать нас

не хочет, но считает, что добратся будет не-легко. Офицер заботлив, мельком поглядывает на дорогу, на проходящего мимо немца с белой повязкой на рукаве, на мгновение опасно взглянувшего в нашу сторону. Дождь, сыро, но все же очень уютно. Офицер показывает примерное направление, которого нам следует придерживаться. Усмехается и качает головой. Он, видимо, думает: милые мои, легко сказать, «дойти до Австрии», а как это сделать?

Благодарим за радушный прием, офицер желает счастья, но чувствуется, что мало верит в наш успех.

В пути видим трупы животных, разбитые автомашины, детские коляски, распоротые перины и, как снежный покров, много перьев. Вот искореженный танк и трупы немецких солдат. Встречаем крадущегося молодого парня, окликаем его, но он не отзывается и убегает. Может быть, не доверяет нам или болен? Поразмыслив, приходим к выводу, что вряд ли можем кому-нибудь помочь. Усталые, идем дальше, а состояние такое, будто нас ожидает праздник. Кто может нас понять? Фашизм разбит. Нет больше сложенных, как из поленьев, гор трупов узников Освенцима, нет больше высохших от голода, холода и мучений желто-зеленых скелетов — всего того, что заставляло померкнуть всякое представление о жизни и заморозить надежды. Мы выстояли, и жизнь продолжается. «Герми, тут так тихо, кто знает, когда мы доберемся до какого-нибудь поселка, куда ни посмотришь — везде лес». Герми тоже кажется странным, что мы не встречаем ни души.

Но вот нам навстречу тянется советский военный обоз. Он движется на запад, по направлению к Эльбе. Один солдат кричит нам: «Русские?» — «Австрийки», — отвечаем мы, машем им руками, они тоже приветствуют нас. Это ободряет, в таком забытом богом месте важен малейший знак внимания. Теперь они будут знать, что есть австрийки, идущие на Восток. (В конце войны нацистские власти принуждали население бежать на Запад.) Солдаты еще что-то нам кричат, видимо смешное, и смеются. Мы не можем их понять, но тоже готовы смеяться.

«Смотри-ка, Герми, — говорю я, — табличка на дереве — «заминированный участок». От неожиданности нас охватывает страх, мы ведь понятия не имеем, как уберечься от мин. Видим мертвые тела. Если и мы тут погибнем, то никто не узнает, где искать нас, что пережили мы в лагере и что эсэсовская рука все же настигла нас. Да, мы вне лагеря, но еще не вырвались из нацистских тисков, не ушли от беды. Было бы глупо погибнуть на их минах. Не вернуться ли?

Мимо проезжает колонна военных грузовиков. Даем водителям понять, чтобы нас подвезли. Один действительно останавливается. Мы взбираемся в кузов, нам уступают место. У водителя, добродушно ворчащего парня, до самых глаз перевязана голова. Только позже мы узнали, что строжайше запрещено было подвозить гражданских лиц. На вопрос, куда направляется колонна, водитель объясняет, что его началь-

ник едет впереди, а сам он не знает маршрута. Но мы и сами шли бы в этом направлении, так что все в порядке.

Приехали в Фюрстенберг. Здесь царит суматоха, много бывших заключенных, слышна разная речь. Узнаем, что группа австриек уехала на конной повозке примерно два или три часа назад. Теперь нам, не теряя времени, надо догнать группу соотечественников. Увы, мы вовремя не сообразили, что необходимо запастись документами или справками и продовольственными карточками.

Вдруг я замечаю, что на меня пристально смотрит какая-то украинка, хватая за руку и спрашивает, глядя мне в глаза, как меня зовут. Я, должно быть, та, которую разыскивает ее подруга... А это могло означать только одно — со мной хотят свести счеты. Той, которую ищут, я быть не могла, но в создавшейся ситуации объяснить разгневанной женщине, что она ошиблась, нелегко. Она грозит передать меня военным властям, но наконец приходит в себя.

Оказывается, мало было выжить в концлагере, надо доказать и найти свидетелей, что ты не запачкана грязью подлости и предательства.

Мысль попытаться догнать землячек захватила нас. Но как это сделать? Кто-то утверждает, что из Франкфурта-на-Одере отправляются поезда, значит, группа направится туда. Поэтому идти надо, не теряя времени.

Мы в Менце. Разыскиваем комендатуру. Молодой солдат на посту говорит, что она переехала в другое место, но можно обращаться к нему. У него обиженное выражение лица — ему кажется, мы не воспринимаем его всерьез. Он готов помочь, и мы просим разместить нас на

квартире, объясняем, что идти дальше нет сил. «Хорошо», — обещает он и смущенно смотрит на нас, славный парень в зеленой красивой фуражке.

Какое спокойное здесь место! В имени, куда приходим мы с солдатом, есть даже мясная лавка, от нее исходят возбуждающие аппетит ароматы. Видимо, война обошла этот уголок.

Хозяйка без явного удовольствия отводит нас в кладовую, которую мы можем приспособить под жилье. Как бы между прочим она сообщает нам, что в доме расквартированы офицеры. Не придаем этому значения.

Наш солдат раздобыл где-то стул и поставил его у дверей нашей каморки. Улыбается, спрашивает, как мы себя здесь чувствуем. Мы благодарим его за заботу. Он рассказывает, что жил на Урале, что с радостью поехал бы домой. «Война — это ужасно», — говорит он, и мы с ним согласны.

На следующий день хозяйка тихо расспрашивает меня о нашем солдате. Мне не нравится ее любопытство, но она просит пойти с ней.

В большой комнате завтракал живой скелет — как выяснилось, бывший узник концлагеря Заксенхаузен, словацкий еврей. Таких, как он, эсэсовцы называли «мусульманами», крайне жестоко издевались над ними, смеялись и презирали. Мы разговорились. Уставившись на меня горящими глазами, он рассказал, что *перед самым концом* сумел спрятаться под санитарную машину и этот отчаянный поступок спас его — ему удалось убежать из концлагеря.

Я тоже немного поведала ему о своей судьбе и рассказала, откуда мы с Герми вернулись. Несчастный пришел в страшное волнение и за-

шептал: «Я должен отомстить, и вы должны мстить...» Я оборвала его: «Вы сами что-то намерены предпринять? Найти ответственных за злодеяния?» Это озадачивает его, но вдруг ход мыслей его резко меняется. «А, вот что, понимаю, — зашипел он, — вы выжили... а не были ли вы подручными гестапо или СС?» Пытаюсь объяснить, что нельзя заниматься самоуправством, но он не хочет слушать. Эсэсовский ад опустошил его и превратил в больного старика, а ведь ему, пожалуй, не более двадцати пяти лет. Он выжил, но мне не может поверить, что я прошла Освенцим.

Хозяйка подзывает меня. Она слышала наш разговор и теперь тоже знает, где мы с Герми находились. Однако хочет воспользоваться тем, что я понимаю по-русски, и просит поговорить с советскими солдатами — боится за запасы в своей мясной лавке. Но какое мне до этого дело! Что я, ангел-хранитель? Но хозяйка — сама любезность — просит пожить несколько дней у нее, всплескивая руками, спрашивает, как это мы отваживаемся идти через всю страну в столь трудное время.

Один из офицеров требует, чтобы я помогла ему как переводчица. Объясняю, что плохо знаю русский. Но он настаивает, и мы идем с ним по домам. Он расспрашивает людей о местных нацистских властях. Ответ у всех один: не знали и не знаем.

Солдаты принесли нам прямо с плиты большую миску колбасы и мяса — поджаристых, аппетитных. У хозяйки, наверное, сердце екнуло.

Грустные мысли не покидают меня, и я говорю какой-то женщине в доме, что при Гитлере достаточно было малейшего повода, чтобы на годы остаться за решеткой. Например, дать кусок хлеба истощенному, умирающему от голода заключенному или помочь ребенку «недо-человека». Но женщина не реагирует. Об этом она ничего не хочет знать.

НЕОБЫЧНЫЙ ВЕЧЕР

Под вечер приезжает на повозке врач и его молодой помощник. Молодой похож, как мне представляется, на калмыка. Старший ворчит, молодой украдкой посмеивается. Видно, что оба очень устали и двигаются как на замедленных кинокадрах.

Хозяйка приглашает нас на кухню, где за большим столом собрались ее родственники и дети. Приходят и оба врача. Меня опять просят помочь переводить, хотя я решительно заявляю, что русских слов знаю мало. Герми уходит спать.

Наступает необычный вечер.

Отведав угощенья — немного колбасы и кофе, — врачи достали свой хлеб и сахар и разделили на всех, выложили на стол папиросы. В напряженной тишине, от которой у меня застрекает кусок в горле, молодой врач просит перевести, что советские войска здесь не за тем, чтобы захватить Германию, они вынуждены защищать свою Родину, свой народ и разгромить фашизм. Иного пути нет. А с войной пора кончать.

Он ждет ответа. Но немцы молчат. Он думает, что его не поняли, и повторяет свои слова. Напрасно, никто из немцев не хочет ни высказаться, ни возразить ему.

Тогда, откашлявшись, начинает говорить его старший товарищ. Медленно, так, чтобы я все поняла, он рассказывает, что жил во Владивостоке, что его Родина — Советский Союз — многонациональная страна, в которой ни один человек не имеет права эксплуатировать другого человека. Он признавал, что сидящие за столом обитатели дома не желают таких разговоров, что присутствие советских людей вызывает их, но тягостная обстановка была невыносима, и он пытался разрядить ее. Потом встает, осматривается, идет в соседнюю комнату, где лежит дряхлая старуха. Он зажигает у нее свечи — зачем ей лежать в темноте? И продолжает монолог о Советском Союзе, об ужасах этой войны. Комната как бы заполняется действующими лицами, событиями и образами. Но никакой реакции его рассказ не вызывает, мне даже кажется, что нас здесь только трое. Это тяжело и неестественно.

Врач говорит о том, что все советские люди хотят жить в мире и восстановить свою страну после войны. Он ждет ответа, но кажется, что теперь удивился бы, если кто-то захотел бы что-нибудь сказать.

В эту ночь уснуть так и не пришлось. Вероятно, эти советские люди впервые пытались объясниться с немцами, меня тронули их тщетные попытки добиться взаимопонимания. Ответом им было глухое молчание. Меня оно мучает. Похоже, немцы всерьез полагают, будто на них обрушилась несправедливость. В тече-

ние нескольких лет барабаны гремели только победно, и немцы уверовали, что победят. Теперь же узнают, что они не раса господ... Да и разве могут они мгновенно понять, что предлагаются им добрососедские отношения, а не отношения победителей и побежденных врагов.

Большинству немцев придется над многим хорошо задуматься. Как-то на улице один из них поразился нашим намерением вернуться в Австрию и удивленно спросил: «Это что за страна?» И злобно расхохотался.

Большинство немцев должны будут многое переосмыслить и воспринять действительность такой, какая она есть. Видя перед собой чудом выживших заключенных, они удивлялись: не призраки ли это? Во всяком случае, теперь они не смогут заявлять, что страшных лет фашизма «никогда не было».

На следующее утро Герми досадует, что ушла спать и упустила возможность участвовать в вечере.

Собираемся в путь. Солдаты дают на дорогу немного продуктов. Отныне мы не будем молчать и сможем откровенно сказать, откуда идем. Пусть все узнают правду, и пусть никогда не будет на земле концлагерей.

Послышался шум моторов, и — какая удача! — среди водителей военных грузовиков узнаем нашего знакомого шофера с перевязанной головой. Конечно, он снова берет нас с собой. Нам надо на юго-восток. «Да, да», — говорит он.

Для нас проехать несколько километров на машине — это значит на день раньше прибыть к очередному месту отдыха, дать ногам пере-

дышку, лучше ознакомиться с местностью и, кроме того, побольше раздобыть продуктов.

Солдаты в машине говорят, что колонна остановится за поселком. Мы просим высадить нас раньше. В два часа ночи они продолжают путь, и если мы захотим, то сможем к ним присоединиться, их стоянку в лесу легко найти. Посоветовавшись, отвечаем, что придем к их стоянке в два часа ночи.

Попадем ли мы во Франкфурт-на-Одере? Сейчас мы в Темплине. На одном из домов развевается голландский флаг. Нас уже увидели из окна и осторожно открывают дверь. Среди женщин, находившихся в доме, есть голландки из Равенсбрюка, которые были выпущены эсэсовцами в последние недели перед «эвакуацией» лагеря. Они приветливо встречают нас, приглашают умыться и поесть. Мы рады возможности иметь крышу над головой, откровенно поговорить, находиться среди товарищей. Но, узнав, что мы намерены среди ночи искать русских солдат и ехать с ними дальше, голландки растерянно смотрят на нас. Ведь обстановка вовсе не настолько разрядилась. Нас предупреждают, даже заклинают не ехать. Они многого не понимают, и между нами возникает спор. С войной необходимо покончить, говорим мы. Она началась не на Востоке и принесла народам неисчислимы страдания. Виновники войны должны ответить за совершенные ими злодеяния. Что касается советских солдат, то им можно доверять, они отзывчивы и общительны. Они воюют долгие четыре года, а дома их ожидают разрушенные деревни и города. Как же не понимать их желания добиться полного разгрома врага и победить!

Потом Герми сказала мне, что такого жестокого спора ей давно не приходилось слышать.

Голландки пытаются уговорить нас остаться, но мы покидаем своих гостеприимных хозяев.

Когда мы подходили к лесу, нас охватил страх. Чтобы побороть его, начинаем петь. Как-то нас встретят, не ожидают ли нас неприятности?

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Наконец находим поляну, где военные расположились на отдых. По белым бинтам на голове узнаем нашего водителя. Солдаты сидят или лежат на земле, он один ходит по кругу, обхватив руками больную голову, и что-то бормочет. Направляемся к нему, но он не припоминает нас. Он стонет, повторяя одно слово «мамочка». Непостижимо, как такой тяжело больной человек может целый день вести машину?

Солдат много, большинство спят, кто-то курит, некоторые разговаривают. Те, кто ехал с нами, узнают нас, но они не ожидали, что мы придем. Для нас расстелили одеяла, предлагают поесть, даже выпить, дают закурить, но мы хотим одного — ехать. Успеется, смеется один из них. Мы беседуем, время тянется очень медленно. Это утомляет, ведь уже ночь. Скоротать время помогают народные песни, которых Герми знает множество. Солдаты стараются подпевать, а я не могу — слишком устала. Опять пытаемся завести разговор. Временами поклевываем носом. Уже светает, но сигнала к отъезду нет. Неужели никто не знает, когда они поедут?

С удовольствием едим то, что нам предлагают, жаль, что голландки не могут это видеть. Не поверили бы, что нас приняли по-товарищески тепло и гостеприимно.

Отправляюсь на поиски старшего офицера, чтобы узнать маршрут колонны. Солдаты, заведя меня, безмерно удивились — откуда здесь молодая женщина? Наконец нахожу офицера. От неожиданности и он растерялся. Рассказываю ему нашу историю, объясняю: нам необходимо добраться до Вены. Он смягчился, но не может поверить, что мы находимся в пределах его части уже несколько часов. Офицер вытаскивает карту, чтобы показать нам, что колонна направляется вовсе не во Франкфурт. Качает головой: «Девушки, мы едем в Штеттин, там вам явно нечего делать. Но главное, ехать с нами не разрешается».

Потом я спрашивала себя, не скорее бы мы попали во Франкфурт, если все-таки поехали бы с ними, ведь из Штеттина наверняка ходили военные грузовики во Франкфурт. И все же ничего не было сделано напрасно — я радовалась встрече с раненым водителем, восхищалась его мужеством. Вот так они побеждают!

Наступает момент прощания с людьми, которые заботливо отнеслись к нам, сберегли целый день нашего пути.

Наконец на дороге появилась телега. Но не та, которую мы искали. Герми приветствует двух подруг по заключению, чешек, и спрашивает, не могут ли они нас подвезти. Посоветовавшись с сидящими в повозке, они не сказали ни «да», ни «нет» и быстро укатили.

В населенном пункте, в котором мы в это время находились, мы раздобыли немного провизии, затем пошли дальше.

Кругом безлюдно, местность заброшенная, а до наступления ночи нам надо найти пристанище. К вечеру оказались в Рингенвальде, где повстречали двух французов. Это были угнанные иностранные рабочие, разместившиеся в бывшем лагере «гитлерюгенд». Пришлось, правда, долго уговаривать их, прежде чем они согласились пустить нас на ночлег. Находиться здесь нам было удобнее, чем искать бургомистра, которому пришлось бы объяснять нашу историю. Кроме того, французы вполне могут починить нашу сломанную тележку, которую мы нашли как-то на дороге. Да и квартира у них спокойная, тихая.

Как и следовало ожидать, эти парни не в состоянии понять, как мы решились одни отправиться в такой длинный и трудный путь. Они уговаривают нас дождаться какого-нибудь транспорта, считая, что без него мы до Вены не доберемся.

На рассвете мы потихоньку встали, собираясь незаметно уйти, чтобы избавить их от хлопот. Но они нас опередили, уже готов завтрак, даже завернули кое-что из съестного «на дорожку».

Каждый раз нас выручает то, что есть возможность объясниться на чужом языке, это помогает нам найти пристанище. Все молодые иностранцы, которых мы встречали в пути, в большей или меньшей степени пострадали от нацистского режима, стали его жертвами. И мы поняли, что с ними можно вполне откровенно разговаривать. Им не нужно много рассказы-

вать, достаточно одного слова «концлагерь». Ни один из тех иностранцев, с которыми мы говорили, не сказал, что мы преувеличили свои беды или что пережитого нами в действительности не было.

Местные жители... Обремененные заботами о многочисленных беженцах, они не всегда могут, а порой и не хотят дать приют. Для некоторых из них мы — тени, привидения, вызывающие беспокойство. Уверенность, что принадлежат к «высшей расе», многих немцев возвышала в собственных глазах. Теперь они пытаются как-то вырваться из рушащегося мира, притвориться, выждать... Мы же счастливы, что выжили, и полны надежд на новую, лучшую жизнь.

Наконец водитель притормаживает и берет нас с собой. В деревне останавливаемся отдохнуть, нас кормят и дают еды на дорогу, немного табака и газету, чтобы скрутить сигарку. Наш шофер раздает по дороге детям пятимарковые купюры. Он родом из Одессы. К нему сразу же сбегаются ребятишки, они подскакивают, визжат, хохочут. Мы рады, что вокруг нас много детей. Жизнь раскрывается перед нами...

Снова идем пешком, встречаем французов, направляющихся в Берлин. Они приглашают идти вместе, дескать, тогда мы скорее нашли бы транспорт. Удивляются, что мы отказываемся от их общества, ведь они хотят нас защитить, потому и позвали с собой. Но, замечая я, мы не хотели бы попасться им на пути, когда они со своими войсками наступали бы, например, в Индокитае или где-нибудь в Африке.

Мы всегда радуемся возможности дружески поговорить с людьми, но когда предугадываем их замыслы, не стесняясь, даем решительный и резкий отпор. Многие, с кем в дороге столкнула нас судьба, предлагали идти вместе, но наши пути, к их огорчению, не совпадали.

В конце концов один молодой человек попросил у меня мой венский адрес — хотел бы после войны узнать, удалось ли нам добраться домой. Впоследствии я действительно получила от него письмо. Он писал, что никогда раньше не встречал таких, как мы, женщин — активных политических борцов.

В одном населенном пункте, показавшемся нам очень тихим, мы разговорились с мужчиной и спросили его о дороге. И дернуло же меня сказать, где мы были все эти годы! Он в ужасе широко открыл глаза и спросил: «Как же так, как же это? Ведь все было подготовлено к взрыву...» И стремительно побежал прочь.

Долго мы стояли неподвижно и смотрели ему вслед. Он открыл нам другую, угрожающую, сторону событий. Очевидно, он знал не только о грабежах и насилиях. Люди этого сорта любят повторять: «Приказ есть приказ». Он очень хотел бы, чтобы тот приказ был выполнен, чтобы «все уладилось» и не осталось бы тех, кто обо всем мог рассказать. Кем он там работал? Мастером-взрывником? Или доставлял взрывчатку?

«Давай-ка, Герми, исчезнем побыстрее отсюда».

Но в следующем селении к нам относятся также негостеприимно. В первом же доме хозяйка говорит, что здесь размещено уже много беженцев и нигде места для нас не найдется.

Похоже, что тот зловещий человек уже побывал тут, чтобы предупредить жителей о нашем появлении. Нам становится жутко, и мы торопливо уходим с одним желанием где-нибудь устроиться на ночлег до наступления темноты...

Небольшая железнодорожная станция. Мысленно уже вижу паровоз, слышу, как он пыхтит, и на душе становится легче. Но наяву мы до сих пор не видели ни одного поезда — впрочем, нет, один мы видели и слышали, но это был воинский эшелон. На скамье около домика путевого сторожа сидит, странно наклонясь, пожилая женщина. Одета в темное, головной платок туго повязан. С первого взгляда и не поймешь, что она уже ничего не ждет. Она мертва...

Под Фалькенбергом мы хорошо устроились на ночлег. Хозяева отнеслись к нам приветливо, но хозяйка как бы между прочим заметила, что офицер уже предупреждал, чтобы ее дом не занимали. Лежим в чистой постели и радуемся сверкающему маятнику на старых часах. Для полноты картины не хватает свечей. Подумать только, ведь все могло быть по-другому — не будь войны, мы могли бы путешествовать по этой красивой стране.

На следующее утро Герми по какому-то поводу рассказала хозяевам и обитателям дома о некоторых событиях нашей жизни. И мы сразу же почувствовали отчужденность к нам.

Впервые за долгие годы купили хлеба. В Эберсвальде получаем продовольственные карточки, и служащая, едва узнав нашу историю, становится очень благожелательной, дает

нам немного денег. «Мой муж тоже австриец», — говорит она и улыбается. Больше она ничего не сказала, будто и это слишком смело с ее стороны.

Нас обгоняют серые повозки с брезентовым тентом, похожие на цыганские. Это возвращаются домой поляки. Молодой поляк останавливается и предлагает подвезти. Он говорит на ломаном немецком. Как приятно ехать, оглядывать местность и болтать. В телеге диковинные для нас вещи — ветчина, хлеб, колбаса. Парень предлагает нам немного еды, очень великодушен, в хорошем настроении. На некоторое время мы забываем, каким сомнительным казался нам план нашего «путешествия». К сожалению, на перекрестке поляки сворачивают на север. Очень жаль, что мы должны расстаться.

Мы разговариваем с каждым, кто встречается в пути. Несмотря на царящую неразбериху и крайне сложную обстановку, несмотря на наше изможденное состояние, мы обе полны надежд. Люди это чувствуют и порой хотят присоединиться к нам, полагая, что мы знаем, как надо поступать в этом мире общей растерянности. Ведь для многих немцев крах национал-социализма означал крушение всей их жизни. Но основной вопрос — как жить дальше? — редко оказывался темой наших разговоров. Наши встречи в пути ограничивались необходимыми вопросами о том, где можно переночевать, достать продовольствие... Но главное — мы стремимся как можно быстрее достичь цели, и то рошимся.

Вспоминаю о маленьком «оазисе» на нашем долгом пути. В одном скромном сельском доме нас приветливо приняла супружеская пара. Здесь ощущалось тихое согласие, не задавались лишние вопросы, и мы были за это благодарны. Нас сердечно приглашали обязательно приехать еще раз, и это произвело на нас большое впечатление. Кто были эти люди? Мы могли бы стать добрыми друзьями...

Когда советские солдаты, встречавшиеся нам в пути, узнавали, откуда и куда мы идем, они сразу же предлагали нам еду и делали это искренне, от всей души. Для этих солдат заканчивались тяжелейшие годы невероятных испытаний, они заслужили мир, их ждала новая жизнь со всеми ее радостями и печалью.

И снова один из шоферов предлагает нам ехать с ним. Он направлялся в Варшаву, где мы могли бы пересест в нужный нам поезд. «Не все ли равно,— говорит шофер,— куда ехать, на юг, на восток или на север. Девушки, пешком вы далеко не уйдете. Едем вместе в Варшаву. Еда есть, питье и курево тоже». Посмотрите, добавляет он грустно, что гитлеровцы сделали с Варшавой, как разрушили город, там теперь каменная пустыня. Это нужно видеть.

Нацисты разрушили Варшаву! Вновь и вновь я сталкиваюсь с неистовством уничтожения. Освенцим навсегда останется в моей памяти...

Местность, по которой мы идем, безлюдная и опустошенная. Все пропитано жутким запахом гниения. Лес как околешее существо и как могила для людей и машин. Искореженная

военная техника никому не страшна. Прочь отсюда, и поскорее. И вновь в памяти всплывает Освенцим, он преследует меня, невозможно забыть бесконечные вопли и стоны. Я внушаю себе, что наш поход домой как бы опустит занавес, отделяющий прошлое от будущего, оградит от невероятных ужасов. Но всю жизнь я буду убегать от страшных видений.

Прочь, прочь отсюда! Я хочу быть среди живых.

МИР!

И снова как маленькое чудо — грузовик и солдат-шофер, который довозит нас почти до Летшина. Мы прощаемся, ему надо в Ландсберг. Он пытается что-то сказать нам, но его так трудно понять. Наконец я поняла: 8 мая — конец войне! Мир! Боюсь поверить, прошу его повторить. Он удивлен: неужели мы ничего не слышали? Салют, стрелять, бах, бах, никс война, все, конец, мир! «Это официально?» — спрашиваю его. «Вполне официально, салют, бах-бах-бах, мир!» Вот она, долгожданная весть, дошла она все-таки до нас! Значит, выдержали! Спасибо тебе, дорогой, за эту весть! Значит, мы все же выстояли!

К вечеру приходим в Летшин. Что там творилось! Однако в комендатуре сказали, что продолжать нам путь нельзя. Австрийцы должны быть отправлены в Берлин, поляки — в Кюстрин, русские — во Франкфурт-на-Одере. Я возмущена: возвращаться по самой печальной, самой заброшенной из всех дорог, по дышащему войной безлюдью? Да комендант и понятия не

имеет, что это значит для нас! Нет! Мы должны как можно быстрее попасть в Вену.

Из громкоговорителя доносится радостная весть: гитлеровская Германия капитулировала!

За Летшином солдаты указывают нам дом, где разместились поляки. Женщины на кухне у плиты, мужчины за столом ждут обед. Молодая полька дает нам кипятку, у нас есть пачка чаю, его нам дали советские солдаты. Другая полька приглашает нас попробовать только что сваренную картошку, мужчины согласно кивают: «Берите, берите».

Картошка великолепна. Ее надо есть не торопясь, медленно наслаждаясь, но мы слишком голодны...

Итак, мы снова в пути. Вокруг мертвые деревья, ни души, ни одного живого существа... Видимо, когда приблизился фронт, не обошлось без террора отступавших эсэсовцев. Нацистские радио и газеты предвещали населению «ужасный конец» в случае прихода русских. Когда тотальная война обернулась тотальным поражением, немцы в страхе бежали на Запад.

Дома полностью невредимы. Впечатление такое, будто хозяева ненадолго вышли и скоро возвратятся. Очевидно, бежали многие из тех, кому бояться было нечего. Такова была сила нацистской пропаганды.

Вот и Кюстрин, а в нем снова нас подстерегают трудности. Предупреждение — как можно реже заходить в города — оправдывается. Нам никак не удастся спокойно рассказать коменданту о наших заботах. Снова нас поучают,

как следует вести себя в этой обстановке, будто из-за нас забиты дороги и создалось напряженное положение. Не знают, как решить проблему пробок на дорогах, но мы, бывшие узники, не можем бездействовать и ждать, пока будет ясен вопрос с транспортом. Мы не в состоянии рассказать коменданту обо всем увиденном нами: пустынных дорогах, мертвых деревьях...

С чувством облегчения узнаем, что можем идти дальше. И все же я пытаюсь объяснить ему, что живем мы только надеждой, которая исчезнет, если нас заставят ждать, пока отправятся поезда, и только возможность идти вперед придает нам силы. Не следует нас удерживать. Конечно, я понимаю, у коменданта много своих забот. Тем не менее удивлена, что никому не поручено позаботиться о таких людях, как Герми и я.

А рюкзаки наши с каждым днем кажутся все тяжелее, хотя в них нет ни единого лишнего лоскутка...

НА ОДЕРЕ

Какой простор, какие дали! При иных обстоятельствах хотелось бы подольше задержаться, полюбоваться окрестностями. Но сейчас пейзаж вызывает в нас чувство беспокойства, в этих просторах легко, кажется, затеряться.

Почему-то мне вспомнилась история одной бывшей заключенной, молодой женщины из Крыма. В 1942—1943 гг. мы сидели в одной тюрьме. Она часто напевала песенку: «И никто не узнает, где могила моя». Как давно это было! Перед зданием тюрьмы в Вене на Россауэр-

ленде протекал канал. В «Лизль» (так называлась тюрьма) однажды на короткое время в «одиночке» оказались четыре человека: дама полусвета, презиравшая всех политических заключенных, занимающихся, по ее мнению, самым никчемным делом, и без конца рассказывавшая двусмысленные анекдоты; представительница низкопробного публичного дома на Пратере; угнанная из Крыма красавица и я — обе убежденные антифашистки. Крымской красавице (ей едва ли исполнилось двадцать лет, но в жизни ее было уже много ужасных событий) нацисты предложили на выбор — либо солдатский бордель, либо отправиться служанкой в Германию. Она избрала второе. В камере она просила рассказать ей какую-нибудь печальную любовную историю, плакала, возможно вспоминала друга, которого потеряла. Ее часто уводили на допрос.

С того времени я хорошо знаю горький вкус слез. Во время пыток в гестапо, стоя на коленях перед одной из стен, я видела множество светло-серых пятен на темном, засаленном полу. Потом я поняла: это высохшие слезы, следы пережитых унижений, боли и гнева. Мне казалось, что вместе со мной здесь незримо присутствуют неисчислимые жертвы злодеяний, совершенных в этих застенках. И я перестала чувствовать себя одинокой. Старалась не показывать своего испуга, когда слышала шаги эсэсовцев. Проходя мимо, наци всегда кричали: «Что, эта потаскуха еще не заговорила? Отдайте ее нам, у нас она будет посговорчивее!»

Убедившись, что от меня им ничего не добиться, они отправили меня в концлагерь. Следователь гестапо обещал, что там меня бросят

на растерзание псам, а вместо воды будут давать уксус. А потом добавил (и для меня это было открытием): «Сейчас летят ваши головы, но если не дай бог войну проиграем, то пропали мы». И тогда, летом 1943 г., я поняла, что их уверенность в победе уже поколеблена и многие из них охвачены страхом перед грядущим возмездием.

В тюрьме слушают и ждут подолгу. Здесь остро ощущаешь свою полную беспомощность. Поэтому даже намек на сопротивление, каждый, даже самый маленький жест солидарности, просто товарищеская помощь — неоценимы. Таким было, например, решение одной молодой женщины, принятое ею за несколько минут до освобождения из тюрьмы. Ее посадили за мелкую спекуляцию на «черном рынке». Сидели мы в общей камере, и она поведала мне о своей печальной судьбе, рассказала, что брат ее воевал во Франции. Она восторгалась этой страной. Я заметила ей, что зимой 1940/41 г. врачи в Тулузе обнаружили среди населения большое число больных язвой и другими желудочно-кишечными болезнями. Одной из причин этого, вероятно, являлось недоедание значительной части населения города. Молодая женщина была очень удивлена, она думала, что Франция — прекрасная, сказочная страна. Однажды женщина спросила, почему гестапо доставило меня в Вену. Я рассказала о побеге из французского лагеря и доносе на меня. Когда ее освободили, она, выходя из камеры, набросила на меня свое пальто. Если бы это увидела тюремщица, женщину не выпустили бы, обвинили бы в государственной измене. Ее поступок был актом солидарности.

История эта имела продолжение. Вернувшись после войны в Вену, я узнала, что единственный раз за все эти годы удивительным образом стало известно о моем существовании. В Париже молодая австрийская участница Сопротивления познакомилась с австрийским солдатом, получившим отпуск и уезжавшим в Вену, откуда был родом. Спустя время они снова встретились в парижском кафе, и он рассказал об одной интересной встрече его сестры в тюрьме «Лизль» в Вене. По совпадениям фактов можно было догадаться, о ком шла речь. Между прочим, в то пальто я куталась постоянно, хотя оно и недостаточно грело, было слишком тонким, а зима очень суровой — так называемая зима Сталинграда! — но оно давало мне силы, согревало душу.

Идем по проселочной дороге. Приближается машина и останавливается возле нас. Водитель настороженно прислушивается: мы говорим по-немецки. После некоторого колебания польский офицер, сидевший в машине, соглашается взять нас с собой. Так мы оказываемся на восточном берегу Одера. Но потом, видимо желая избавиться от нас, офицер приказывает выйти из машины и оставляет нас посреди дороги.

Встречаем солдат, остановившихся на отдых. Они угощают нас, договариваются с шофером проезжающего мимо грузовика, чтобы тот захватил нас с собой. Шофер дает немного продуктов, наш маленький чемоданчик пополнился, и мы чувствуем себя более уверенно. Шофер удивлен, что мы торопимся, предлагает ехать с ним в Берлин, но не уверен, что быстро

доберется до столицы. Жаль, мы не можем принять его предложение, охотно посмотрели бы Берлин.

Как много везде могил русских солдат! Шофер тихо произносит: «Да, здесь, на чужой земле, много погибло наших»...

Наконец мы добрались до Франкфурта-на-Одере. Находим комендатуру, но нам говорят, что мы напрасно пришли в этот город. Мы давно оставили надежду найти наших австрийских товарищей, отправленных из Фюрстенберга на повозке. Как потом узнали, большие группы австрийцев направились в сторону Одера и через Шведт, Франкфурт, затем через Чехословакию добрались до Австрии.

11 мая распространился слух, что Одер скоро станет границей и нельзя будет свободно перейти на его западный берег.

Вопреки распоряжениям коменданта мы на свой страх и риск намерены идти дальше. У моста через Одер появляется повозка, на которой восседают два солдата. Они согласны перевезти нас.

Повезло! Мы переезжаем через Одер.

От различных людей, встречавшихся нам в пути, мы не раз слышали, что в Фюрстенвальде организован сборный пункт для освобожденных военнопленных, угнанных в Германию, и так называемых добровольных иностранных рабочих, ожидающих возвращения домой. Там как будто бы хорошо кормят и тепло принимают.

Во время нашего трудного пути мы почти не интересовались названиями населенных пунктов, через которые проходили, никто не распи-

сывал нам достопримечательностей того или иного городка, было не до рассказов и восторгов. Конечно, можно когда-нибудь повторить этот маршрут и все рассмотреть. А сейчас нам нужна карта, чтобы различать бесчисленные Рингенвальде, Эберсвальде, Фрайенвальде, Фюрстенвальде и прочие похожие названия местечек и городов. На помощь приходит пожилая женщина, которая направляет нас к учителю. Это молодой немец в штатском, неразговорчивый, в дом не впускает, но выносит небольшую, сильно потрепанную географическую карту германского рейха, на обратной стороне которой написано: «Европа, великое переселение народов», а внизу обязательное — «расовая карта». Это карта путей сообщений, и мы, идущие пешком, можем любоваться авиалиниями на Дрезден, далее через Баварию, Верхнюю Австрию на Вену. Словом, это не просто карта, а целое сокровище для нас.

Поначалу, опьяненные тем, что живы и свободны, мы думали, что на одном дыхании дойдем до Вены. Но как же трудно идти! Отказываются служить ноги, они распухли. Меня лихорадит. Кончились продукты.

Нам ничего не остается, как пойти на сборный пункт.

НАКОНЕЦ ОТДЫХ

В населенном пункте, в который мы попадаем, повсюду слышна французская, итальянская и даже русская речь (поблизости расположен лазарет для советских солдат). Вероятно, сборный пункт, который мы ищем, неподалеку.

Наконец находим администрацию. Здесь слышим советы одуматься и дождаться официального разрешения на возвращение домой. Начальник, как мне кажется, все же понимает наше состояние. Он выслушивает нас, расспрашивает и распоряжается предоставить нам комнату.

Поселяемся на первом этаже. Едва мы устроились, как начались к нам визиты соседей. Хотели узнать, говорят они, откуда вы пришли и куда направляетесь. Оставляем открытыми двери и окна — под предлогом, что нам нужен воздух.

Сильно болят ноги, я раздражена и устала, но лежать в кровати не хочу. Кто знает, встану ли, если расслаблюсь. У Герми ангельское терпение, она хороший товарищ, заботливая подруга.

Самое время расспросить Герми о ее прежней жизни.

«Я была внебрачным ребенком, моя мать не могла оставить работу и отправила меня к приемным родителям в лесной район. Им, небогатым крестьянам, жилось трудно. У них было семь детей, но, несмотря на это, к детям, взятым на воспитание, они относились по-доброму, как к своим. Работать родителям приходилось от зари до зари, чтобы свести концы с концами. В 1914 г. мой родной отец погиб на войне, а в шесть лет я оказалась круглой сиротой. После школы пошла на фабрику разнорабочей, но мне очень хотелось получить какую-нибудь профессию. Однако совет по опекунству тогда считал, что девушке незачем учиться, ей следует идти в прислуги. Моя старшая сводная сестра устроилась в Вене и пригласила меня к себе.

Я долго была безработной, но наконец нашла место в прачечной, где на меня взвалили все обязанности. Потом уволили, и я снова вынуждена была искать заработок. Наконец взяли меня в крупную прачечную, но подсобной рабочей. Вскоре заболела старшая работница, и я получила ее место, но хозяева повысили мне зарплату всего на два гроша¹. Я была возмущена такой несправедливостью. К несчастью, случилось так, что мой безымянный палец попал в машину, и это стоило мне рабочего места, меня уволили. При этом я еще должна была бороться за то, чтобы все было сделано в соответствии с договором, хозяин же хотел отделаться «подарком», что меня никак не устраивало.

Но представь себе, в концлагере меня направили в группу ремесленников, так что я все же стала ремесленницей. Мы должны были заниматься различным ремонтом, дел всегда хватало. В лагере я могла кое-чем помочь товарищам, например отремонтировать обувь, а ты знаешь, что такое всегда иметь сухие ноги. Мои подружки по работе и я три недели тайком ремонтировали обувь заключенных. Конечно, это не разрешалось, и нам надо было держаться настороже. В последний раз мы починили, веришь ли, 50 пар».

«А как получилось, что ты встала в ряды борцов?»

«В 1934 году я вышла замуж. Муж часто был безработным, нам приходилось довольствоваться в неделю 28 шиллингами. Я работала прислугой или разносчицей молока — как придется, ведь выбора не было.

¹ Грош — австрийская монета в $1/100$ австрийского шиллинга. — *Прим. перев.*

Однажды мы посмотрели кинофильм, в котором шла речь о коммунальном строительстве жилых домов в Вене. В фильме выступал бургомистр Карл Зайтц и говорил о многих жизненно важных проблемах. Я долго размышляла над этим фильмом, он произвел на меня сильное впечатление. Мне всегда нравились первомайские демонстрации, вообще, все, пробуждавшее во мне надежду, что жизнь могла быть совсем иной, лучше. Но только в 1934 году я стала задумываться всерьез о политике, а оккупация Австрии в 1938 году завершила мое прозрение.

В общем-то активной я стала благодаря соседям, молодым коммунистам. С ними я ходила на курсы, а с 1936 года принимала участие в нелегальной расклейке и распространении листовок против террора фашистов и войны. Потом настало 13 марта 1938 года, и все стало иначе. Мы образовали группы из трех человек и очень строго следили за тем, чтобы не оставлять на частных квартирах никаких антифашистских материалов. Но нацисты сумели внедрить своих людей в антифашистские группы и в августе 1939 года арестовали многих молодых людей, среди них и моего мужа. Через одиннадцать месяцев его из тюрьмы освободили, надели мундир и отправили на фронт...»

Полученное Герми в лагере официальное уведомление о том, что по требованию мужа брак расторгнут, было для нее тяжелым ударом и могло сломить последние силы. Благодаря подругам по заключению она преодолела душевный кризис. Терпеливое, дружеское, внимательное отношение помогло ей не сдаться.

Внезапно Герми меняет тему разговора и спрашивает: «А ты знаешь, куда отправишься

в Вене? Я иду к своей сводной сестре и ты пойдешь со мной. Увидишь, какая она славная, она хорошо нас примет». Договорились, это будет нашим первым шагом в Вене, а потом посмотрим, что делать дальше.

Наше пребывание в Фюрстенвальде было довольно интересным. Здесь много молодых людей, есть с кем поболтать, поспорить. Война закончилась, все в ожидании лучшего и находятся в приподнятом настроении. Среди парней есть здесь и такие, что не знаешь, как они себя поведут, поэтому мы сохраняем дистанцию. Да и сил нет на проявление каких-либо симпатий.

Нас часто спрашивают, не боимся ли мы, что в столь долгом пути с нами что-нибудь случится? Герми, волнуясь, убеждает: «Поймите, советские солдаты относятся к нам как к друзьям, они наши освободители. Когда Мали обращается к ним по-русски, то в их ответах нет ничего, что вызывало бы страх и боязнь, наши встречи проникнуты симпатией и доверием».

В одной из квартир есть старый граммофон, его часто заводят, веселая музыка нравится, мы иногда танцуем, много смеемся и говорим о политике. За нами порой наблюдают, когда мы стираем свои вещички, вероятно, хотят увидеть что-то напоминающее родной дом.

Мы можем часами распевать песни, французские свои, мы — свои. Однажды я напевала испанскую песенку. Навестивший нас русский офицер внимательно прислушивался, а потом сказал: «Вы напоминаете мне одну испанку». Спрашиваю, не был ли он в Испании? Как я выгляжу? Может быть, как девушка из Мадрида или из Андалусии, а может, из Астурии или Каталонии? Он улыбается: «Да-да, как из Бильбао»...

С немцами разговор завязывается с трудом, они явно нас избегают. Фрау Эмма, наша хозяйка, с которой мы делимся своим пайком, расположена к нам. Мы получаем ежедневно по 700 граммов хлеба и другие продукты, часть припасаем на дорогу, остальное отдаем хозяйке. Она очень довольна, и, когда мы собираемся снова в путь, уговаривает остаться у нее. Ее благожелательность к нам — прежде всего заслуга Герми, которая считает себя ответственной за «внутренние дела», за контакты с местным населением.

Местная администрация настаивает, чтобы мы перебрались на женский сборный пункт, предварительно урегулировав этот вопрос с бургомистром. Распространился слух, будто объявлен карантин, вызванный эпидемией, утверждают, что местные жители обеспокоены тем, что здесь собрались две тысячи мужчин... В общем, мы чувствуем, что нам пора в путь. Добиваемся у бургомистра, чтобы он выдал нам удостоверения, и 24 мая покидаем городок, где провели двенадцать дней.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Вскоре нам удастся остановить попутный грузовик, водитель которого соглашается взять нас с собой. Забравшись в кузов, мы замечаем нескольких подвыпивших парней. Нас внимательно разглядывают. Я тут же хочу выпрыгнуть из машины, но парни требуют от водителя, чтобы он быстрее отправлялся. Офицер, стоящий неподалеку, подбегает к машине и кричит: «Не троньте девушек, они останутся здесь!» Мы благодарны ему.

Идем долго пешком и наконец видим на обочине дороги машину. Несколько солдат отдыхают на траве. Обмениваемся приветствиями, нас приглашают перекусить. Я прошу подвезти нас.

Местечко, в котором мы останавливаемся после долгого пути, ухоженное — ни следа войны. Хозяева дома, муж и жена, как нам сказали, ответственные за размещение беженцев.

Хозяйка согласна приготовить ужин из продуктов, которые дают ей солдаты. В благодарность за заботу и приют кто-то сунул в руку хозяина деньги.

Немцы держатся замкнуто, от них мы слышим лишь «да», «нет». На следующее утро я сказала хозяину, что его отношение к нам, подчеркнуто недоверчивое, вызвано, вероятно, превратными представлениями о взаимоотношениях между нами, австрийками, и русскими солдатами. Он ничего не ответил, но срезал в палисаднике цветок и преподнес мне. Я была тронута его вниманием. Однако мысль о том, что фашизм вытравил у многих людей добрые чувства, не оставляла меня.

Дальнейший путь мы продолжали пешком — отныне нам ни разу не представилась возможность проехать хотя бы часть пути на машине. Ежедневно мы делали 30—35 километров. И с каждым днем нам было труднее идти, развалилась обувь.

Но нас не оставляла надежда. Однажды нам рассказали, что поблизости от того места, которое мы проходили, живут сорбы, очень дружелюбный народ, всегда готовый прийти на помощь. Не раздумывая, мы свернули с главной дороги и пришли в Турнов (район Шпреевальда). Мужчины и женщины работали в поле, до

нас доносился шум работающей лесопилки. Это действовало успокаивающе.

Герми ослабела совсем, не могла идти дальше, и мы решили остановиться на ночлег. Но и здесь нам пришлось защищать себя: бургомистр, к которому мы обратились, отказался устроить нас. Что ж, сказала я, придется заявить коменданту. Это подействовало.

Когда мы пришли по указанному адресу, хозяйка дома находилась в поле. В ожидании ее прихода мы сели на скамейку. Оглядываемся: красивые дома, играют дети... Безоблачная, спокойная жизнь...

Наконец пришла хозяйка. Наша просьба приводит ее в неописуемый гнев, она врывается в дом и захлопывает перед нами дверь. Да... не такого приема мы ожидали. Возвращаемся к бургомистру, и он дает нам другой адрес.

На сей раз нас встречают радушно. Мы ужинаем вместе со всей семьей. Потом хозяйка водит нас по дому, открывает сундуки, показывает нарядные платья, рассказывает о местных обычаях и обрядах — крестинах, свадьбах, праздниках. Чувствуем ее желание успокоить нас, разогнать остатки страха. Но война и здесь не ушла в прошлое. Хозяйка с болью говорит о том, как нацисты издевались над жителями и что при Гитлере был запрещен их родной язык.

Мы узнаем: в городке живет несколько австрийцев, они вполне хорошо устроились и не думают о возвращении домой.

Годы войны, особенно последние, привели в движение сотни тысяч людей. В Турнове среди людей, нашедших здесь приют, есть и такие, которые не спросят жителей, не нужно ли помочь в работе, но требуют заботы о себе. Мы собира-

лись откровенно поговорить об этом со своими земляками, но они отказались от беседы, чем нас очень огорчили.

Герми хотела купить у крестьян продукты на дорогу. Ее охотно снабдили всем необходимым, но брать деньги отказались. Наш чемоданчик снова полон.

Здесь дети уже ходят в школу. Как прекрасно! Герми много рассказывает об Австрии, ведет настоящую пропаганду в защиту австрийской нации. Рассказываем о Варшаве, о концлагерях. Люди потрясены. Мы впервые за много дней увидели, что жители интересуются событиями, происходящими за пределами их местности.

Субботу и воскресенье мы провели у сорбов, в понедельник собрались в дорогу. На прощание хозяева угостили нас обильным завтраком и отказались взять за него плату. Такие это люди.

На вокзале в Прайтце одна крестьянка приглашает нас к себе домой, угощает и горячо просит взять письмо ее сыну — где-нибудь найдем же мы действующую почту. Тревога как бы висит в воздухе, повсюду ожидание весточки, надежда узнать, что близкие живы, и желание дать знать о себе. Конечно, мы берем письмо, но дойдет ли оно до адресата?

Мы идем по дороге, ведущей в Коттбус. В городе проходим мимо огромной площади, по которой когда-то маршировали эсэсовцы. Иногда отдыхаем рядом с беженцами, совсем отчаявшимися людьми, мечтающими об одном — найти родственников, которые приютили бы их. Молодая мать тихо шепчет: «Только бы не было бомбежек». Рассказывает, что каждый день после работы бежала домой к своему ребенку, который лежал в подвале в корыте вместо кро-

вати. Если бомбили днем, то она днем мчалась домой, несмотря на то, что с работы уходить не разрешалось. Бежала и боялась, что не найдет в живых свое дитя...

«Такая жизнь только для цыган,— говорит одна из беженок,— нам тут конец». Я знала, что много цыган уничтожили в концлагерях. «Пора научиться мирно жить друг с другом,— сказала я.— Нежелание жить под открытым небом, как они, еще не делает человеком». — «Слава богу, эта проблема решена, по крайней мере у нас...» — язвительно отвечает она. Затем затихает и бледнеет. Я всматриваюсь в нее. Беженки быстро собираются и уходят. Мне все это очень больно, и я спрашиваю себя, что же стало с умом и сердцем немцев?

Передохнув в Коттбусе, мы собрались идти в Дрезден. Безлюдные дороги, тревожные предупреждения — здесь очень беспокойно. Что нам только не пророчили!

Наконец вокзал, много людей, ожидающих поезда, никто не знает, будет ли он вообще. Лучше не мешкая отправиться пешком. Идем мимо сгоревших лесов — жуткая картина, — побыстрее бы выбраться отсюда.

Мы вышли на приятную, манящую вдаль дорогу, идем не торопясь, вокруг все красиво зеленеет, веселое небо, плывущие облака. Хорошо бы раздобыть горячей воды и постирать блузки, они могли бы на ходу высохнуть.

Я приседаю, чтобы прикрыться от ветра и прикурить сигарету, но не загораются спички, пересохший табак сыплется, как песок. Все это грустно, но мы смеемся. Только не падать духом!

Мы идем в направлении немецко-чешской

границы. Многие предупреждали нас, что вблизи границы беспокойно, что без знания чешского языка нас постигнет неудача. Решаем обогнуть Чехословакию, идти в Вену через Баварию и Верхнюю Австрию. Путь удлинится.

Все труднее найти ночлег. Впереди Дрезден. Много беженцев. Продвигаемся очень медленно. Хорошо бы найти какой-нибудь приют.

Повстречали молодую беженку, которая была замужем за австрийцем, сражавшимся в Испании. Говорит, хотела бы присоединиться к нам. Вместе с ней мы должны были продолжить путь на следующий день.

Но ни на следующий день, ни позднее она уйти с нами не решается и советует нам остаться в Германии, которой необходимы самоотверженные люди, чтобы строить новую жизнь. Но мы хотим отдать силы своей стране.

Дрезден, конец мая 1945 г. Вошли в город, ничего не ведая, и были потрясены. Одни руины, мертвый город! Находим в западной его части контору, в которой служащие, несмотря на трудности, приходят нам на помощь. Они размещают нас на окраине, выдают удостоверение.

Товарищи не жалеют сил, чтобы победа над фашизмом — здесь мы впервые слышим слово «победа» из уст немецких граждан — обрела будущее. То, что совершено здесь — разрушен город, десятки тысяч убитых и калек, — чудовищно, нелепо, бессмысленно. Это потрясает. Дрезденцы разбирают руины, а я спрашиваю себя: когда может быть восстановлен этот в недавнем прошлом чудесный и красивый город?!

Идем в направлении Хемница (теперешний Карл-Маркс-Штадт), за которым проходит демаркационная линия. В комендатуре советуют:

останьтесь здесь, надо какое-то время переждать. Но мы твердим одно: нам надо в Австрию, не задерживайте нас. Трудности? Мы к ним готовы. Мы не верили, что пограничный пост на другой стороне будет чинить нам препятствия. Мы не учитывали, что непрерывно текущий на Запад людской поток, отчасти спровоцированный антисоветской пропагандой, создает на границе напряженность.

На втором этаже здания комендатуры офицер пытается спокойно объяснить нам обстановку и внушить, что нам следует задержаться здесь. Я твердо говорю, что мы идем издалека, из Равенсбрюка, и остановить нас уже невозможно. Наше положение обсуждают несколько офицеров, уточняют, как мы дошли сюда, как долго и где были в заключении, почему оказались в концлагере. Один из них даже хочет узнать, какие книги нам доводилось читать. Отброшен официальный тон, скорее, им все это очень любопытно, и процедура напоминает школьный экзамен, за который ставят оценку. Затем нас просят извинить, что нет возможности предоставить нам для дальнейшего пути машину. Но продукты и табак на дорогу мы получили. Да, надо отправляться, говорят офицеры, только не попадитесь...

Мне все понятно. Я говорю Герми, что отсюда надо исчезнуть, уйти «нелегально», будто никто этого не видел и воспрепятствовать не мог.

ГРАНИЦЫ, ГРАНИЦЫ...

Видимо, границы действительно существуют, и мой знания английского не в состоянии нам помочь. Первые встреченные нами американские

солдаты оказались весьма недружелюбными. Мы же отказывались понять, почему нам нельзя перейти «зональную границу». Американцы твердили одно: возвращайтесь туда, откуда пришли, мы не собираемся вникать в ваши особые обстоятельства. Я пытаюсь объяснить, что мы торопимся в Вену, нам ничего от них не нужно, продуктами мы обеспечены. Разгорается спор. Они вскидывают автоматы, грозятся выстрелить в нас. Тогда я кричу: «Ваше счастье, что вы не знаете, что такое концлагерь!» Я прошу: «Если не пропускаете нас, то скажите, как попасть в Вену». Однако американцы считают, что мы ведем себя вызывающе, ни один не хочет перейти на примирительный тон, любая попытка договориться оказывается тщетной. Потрясает нежелание прислушаться к нашим бедам, невозможность пробудить сочувствие. Они вооружены, придется искать другой путь.

В общем, нам удалось проскользнуть в нейтральную зону. Там бродили группами тысячи немецких солдат. Увидеть можно было многое: искореженные поезда, танки, военное снаряжение...

Солдатам не нравится, что появились мы, гражданские, это видно по их враждебным взглядам. Один из них прошипел в нашу сторону: «Проваливайте отсюда, гражданским тут делать нечего». Мы объясняем, куда держим путь. Он указывает направление.

Видим медленно приближающийся поезд. Солдаты тотчас бросились штурмовать его. Поезд уже полностью облеплен людьми, мы тоже пытаемся взобраться на него, но кто-то солдатским сапогом преспокойно наступает нам на пальцы. Адская боль, мы падаем на землю.

«Что, поняли?» — язвительно спрашивают сверху.

Поезд уходит без нас.

Бредем по шпалам и через некоторое время подходим к месту аварии. Вот так-так! Это тот поезд, на который нас не пустили. Он столкнулся со встречным. Есть мертвые и раненые. И мы могли оказаться среди них.

Продолжаем путь. Подходим к шлагбауму. Навстречу американец в военной форме. На этот раз веду себя похитрее и задаю вопрос по-немецки. Он знает язык и понимает, о чем я говорю. Тихо сообщает, что здесь нас не пропустят, советует пройти кружным путем и незаметно показывает направление. Потом громко заявляет, что тут прохода нет.

Добираемся до указанного им контрольного пункта. Теперь я говорю по-английски и несколько запальчиво разъясняю, куда мы направляемся. Идем в сопровождении солдата, который ворчит, что через линию переходить запрещено, но раз уж такое дело, пожалуйста... Я жалуюсь, что гражданским затрудняют путь, в то время как немецкие солдаты спокойно пребывают в нейтральной зоне. Я возмущена и волнуясь. Он пристально смотрит на меня, вместо ответа сует шоколадку и пропускает нас.

Сейчас, как и раньше, на всем пути нашего следования наша судьба зависит от добрых людей, и этот солдат был одним из них.

Думаем об одном: идти вперед, не останавливаясь. Мы возвращаемся на родину, и это для нас главное. Но не было ни точного определения нашего статуса, ни необходимых удостоверений. Нам следовало бы найти дома для беженцев и учреждения, уполномоченные выда-

вать продовольственные карточки и суточные. За время нашего «путешествия» обстановка в стране существенно изменилась. На наших глазах начинался новый период истории.

Я и сейчас еще слышу, как немец во Франкфурте-на-Одере с горечью спрашивал, почему именно он должен расхлебывать все, что натворили «те наверху». Будь этот вопрос поставлен многими и своевременно, возможно, их усилиями удалось бы предотвратить национальную и мировую катастрофу.

«Герми, ты правильно действовала тогда, в тридцать девятом, можешь ли ты сказать после всего, что произошло, что и теперь поступила бы точно так же?» — «Конечно, очень многие в Австрии действовали, как мои товарищи и я. А как же иначе?» Я полностью с ней согласна. И тогда и теперь все делала бы так же.

Вспоминаю прошлое: у нас было ощущение, что многие внутренне были готовы к борьбе, но внешние силы ломали их волю. Мы видим разницу между теми, кто были активными пала-чниками, и теми, кто падали под обрушивающимися на них ударами.

Идем в Плауэн. Шоссе тихое, будь оно оживленным, возможно, нас подвезли бы. Садимся на обочине и ждем. Размышляем о том, что если бы с первого дня побега нам не помогали многие, совсем незнакомые люди, то мы не ушли бы так далеко. Невольно вспоминается Освенцим, ведь главным там было продержаться, выстоять. И судьба каждого зависела от человеческого отношения друг к другу. Солидарность — вот что нас поддерживало и спасло.

Я вспоминаю неизвестных узников, которые,

несмотря на строжайшую систему охраны лагеря, помогли мне проникнуть в их блок, вспоминаю других заключенных, которые сделали вид, будто не видят меня, когда я бежала из душевой. Вспоминаю словачку, почти ребенка, которая сумела какой-то выдуманной ею историей отвлечь от меня внимание жестокой надзирательницы и спасти от сурового наказания.

Вспоминаю и Берту. Я помню ее имя. Ей было восемнадцать лет. В ней, польской еврейке, все было светлым: лицо, волосы, даже голос. Случайно мы оказались рядом на построении рабочей команды. С того времени всегда искали друг друга. Правда, слово *всегда* в применении к Освенциму звучит неестественно, наше знакомство длилось всего несколько недель. *Всегда* в Освенциме существовали только бесконечные ужасы и насильственная смерть.

После тифа у меня сильно отекали ноги, поэтому товарищи, шагавшие вместе со мной в строю, беспокоились за меня. Зима была суровой, дорога обледенела, ее болотистые участки превратились в темные ледяные зеркала. Идти медленнее и отстать означало, что на следующий день пришлось бы остаться в лагере и угодить в разряд непригодных для работы, что грозило смертью. Берта поддерживала меня и тащила за собой с молчаливого согласия товарищей, которые ей помогали. Мы все были очень ослаблены, и я просила их не подвергать себя риску из-за меня, не привлекать внимания охраны. Но Берта настояла на своем.

Следующий день начался с команды: «Никому из блока не выходить, сегодня рабочих команд не будет». В страхе кто-то из заключенных закричал: «Мы в блоке обреченных...»

«Эскадрон смерти» уже здесь. Будто выполняющая скучную обязанность, эсэсовец поднимает руку, указывая, кого — налево, кого — направо... У Берты тесный, слишком маленький рабочий халат, и нарывы на ногах отчетливо видны. Эсэсовцы это немедленно замечают. Слышны крики, шум. Берта быстро стащила с ноги деревянный башмак и сильно ударила им эсэсовца по лицу. Ее убили... Думаю, эсэсовцы не раз вспомнили отважную Берту...

Наконец мимо проезжает «джип». Останавливается. К нам подходит американский офицер и садится на траву. Он удивлен, что мы не выказываем к нему особого расположения, может быть, другие женщины здесь совсем иначе ведут себя? Он рассказывает, что немецкие женщины ему нравятся: чистенькие, волосы хорошо причесаны, многие просто миленькие. «Здесь мы чувствуем себя больше дома, чем у французов». Он предлагает сигареты и удивленно спрашивает, почему я прикуриваю сама. Хочет быть галантным, обращаться с нами как с женщинами. Не знаю, что он имеет в виду, но говорю, ему следовало бы подвезти нас немного на своем «джипе». «Это запрещено, — уверяет он. — Служба». Угостил нас шоколадом, извинился, что не может взять с собой, и укатил.

Французы, если мы встречаем их в пути, как правило, дают дельный совет, где можно устроиться на ночлег, где меньше надо стоять в очереди, чтобы запасть продовольствием. Знание языка для нас как «Сезам, откройся».

Один француз позаботился о квартире для нас, потом познакомил с испанцем и его женой — очень гостеприимными людьми. Они ра-

душно приняли нас, усадили за красиво накрытый стол — можно подумать, мы празднуем встречу после разлуки. Но мы не забываем, что здесь мы «нелегально», должны вести себя тихо и не обращать на себя внимания. Испанец работает в столовой, которая получает продукты из фондов оккупационных властей. Он щедро угощает нас, а рано утром приносит продукты на дорогу. Забота его приятна нам, но я тревожусь за возможные последствия, ведь ночью, на свой страх и риск он где-то раздобыл эти продукты, не придется ли за это отвечать? Он спокойно говорит: это наименьшее, что ему хотелось бы сделать для нас, он мог бы сделать значительно больше, если бы мы остались у них. Его жена надеется, что мы еще встретимся — в Мадриде!

Быстро собираемся в путь, никто не должен видеть, как мы уходим, никто и не подозревает о нашем пребывании здесь. «Да здравствует жизнь!» — говорю я на прощание, и мы хорошо понимаем друг друга: фашистский лозунг франкистов в Испании гласил: «Да здравствует смерть!» Проклятый лозунг, когда он наконец навсегда исчезнет?

Едва отправились в путь, как уже думаем о полднике, это будет суперполдник, и мы выбираем для него красивое местечко. Восприятие красоты пейзажа — это частица обретения полной свободы, мы наслаждаемся ею. Не знаем, где будем завтра и что нас ожидает. Сегодня радуемся жизни.

Вошли в какой-то город, и снова начинаются поиски продуктов. Вдруг видим, трое людей едят, кажется, пирог. Спрашиваем, где бы и нам

раздобыть что-нибудь подобное. Оказалось, это белый хлеб, которым тут же с нами поделились. Встреча с добрыми людьми — большая радость. На долгом пути домой с нами, к счастью, случилось и такое.

Мы в поезде, просто не верится. Можем наконец ехать и спать, спать, спать...

Какой огромный крюк мы сделали вдоль границы с Чехословакией! Приближаемся к Нюрнбергу, об этом узнаем от попутчиков. Кондуктор требует приобрести билеты, но у нас нет денег. «Меня это не касается, — сердится он, — порядок должен быть!» Объясняю, почему у нас нет денег, он сокрушенно качает головой.

Так вот какой этот город, превращенный в руины, город игрушек и грандиозных фашистских парадов! Вид его ужасен, он потрясает. Камня на камне не осталось, развалины. Я думаю о Гернике, о Варшаве... Все ли поймут теперь, все ли поклянутся: «Никогда больше!»

Находим наконец нужный поезд. Он следует через Зальцбург в Италию и полностью забит возвращающимися на родину итальянцами. Они устраивают нам настоящий допрос: почему нас только двое, где остальные? Переговариваются, что вряд ли возьмут с собой, возможно, нас следует отдать под стражу... Я объясняю, что Австрия еще не возвратила своих узников, мы же, не дожидаясь официальных распоряжений, сами отправились в путь. Но итальянцы не понимают, и я перехожу в атаку. Я кричу, что они слишком самоуверенны, лучше бы сказали, где были некоторые из них, чем занимались и какую службу несли? Мои вопросы сыплются градом, я возмущена до глубины души.

Один из итальянцев подходит ко мне, просит остаться, говорит, что не допустит, чтобы нас оскорбляли. Остальные молчат, но, кажется, все еще рассержены. В общем, их можно понять. Война истрепала нервы людей, и неудивительно, что многие антифашисты нервозны и недоверчивы. Те же, кто встал на путь борьбы в самый последний момент, хотят казаться особенно бдительными. Пожалуй, нам лучше выйти из вагона, он и так переполнен, и кто знает, чем все это кончится.

Там мы выстояли. Действительно ли мы выстояли? Впоследствии многие из тех, кто избежал плена, не попал в смертельный круговорот, кто легче, чем мы, прошел сквозь ужасы гитлеровского фашизма, спрашивали, как могли узники выдержать столь тяжкие испытания? Они, должно быть, бесчувственные, если им все нипочем. Мы бы такое пережить не смогли!

Было в жизни немногих из возвратившихся в Австрию и такое: в официальных учреждениях своей страны они слышали, что *там*, наверное, было не так уж плохо, иначе они не оказались бы *здесь!*..

Выжив *там*, надо еще выстоять *здесь*.

Снова появилась возможность двигаться дальше — на поезде! Открытый вагон, груженный большими канистрами с мазутом, конечно, далеко не комфортный. Но мы устраиваемся. Сеет мелкий дождь. Ехать пришлось долго, сидеть на канистрах неудобно, мы чертовски устали. Когда поезд остановился и мы спрыгнули на землю, увидели, что вымазались мазутом. Это испортило настроение, нам вовсе не безразлично, как мы выглядим.

Вот и Пассау. Измучились мы все-таки здорово, поэтому обращаемся к первой попавшейся навстречу женщине. И случилось чудо: молча посмотрев на нас, она зовет к себе домой. Мы сможем у нее вымыться в дороги, говорит она, найдется что-нибудь и поесть.

У ффрау Хубер маленькая, очень чистая квартира. Извиняемся перед хозяйкой, что доставляем ей много хлопот. Она знает, что у нас ни гроша в кармане, но это не отражается на отношении к нам. Мы благодарны ей. Привели себя в приличный вид, вычистили масляные пятна, постирали белье. Она рада, что нам приятно находиться у нее. Ни разу не заговорила о собственных горестях, не пожаловалась. Ее материнское отношение ободрило нас.

Так встретились мы с *другой* Германией и убедились, что она есть.

Снова отправляемся на поиски «зеленой границы». Ее ищут многие, например солдаты, переодетые в гражданское. Некоторые охотно присоединяются к нам, надеясь, что наш безобидный вид ни у кого не вызовет подозрений. Мы не возражаем и никого ни о чем не спрашиваем, да и кто скажет нам правду? Когда попутчик говорил о своем желании вернуться домой, нам казалось: это не плохой человек, иначе он не стремился бы домой.

Спустя годы нас спрашивали: как мы прошли через охраняемые границы и мосты? Много забылось. Мы всегда вели себя так, будто не сомневались, что нас пропустят. Подходили к контрольному пункту и объясняли, что нам надо «на ту сторону», если возникали трудности, то мы доказывали, объясняли и обосновывали причины своей настойчивости.

МЫ — В АВСТРИИ!

Итак, мы в Австрии. Первый шок, испытанный на австрийской земле, — Шердинг занят венгерскими гонведами (военнослужащими венгерской армии при хортистском режиме, участвовавшими в войне на стороне гитлеровской Германии). Здесь мы чужие, у нас нет ни денег, ни ценных вещей, которые можно было бы продать или обменять на продукты. В городе очень много беженцев. Мы так долго мечтали: окажемся на австрийской земле, и все пойдет по-другому. Но оказалось иначе.

Линц-Урффар. В зале ожидания на автобусной остановке вижу маленькую карту местности, с которой мне как бы улыбнулось красивое озеро. Расположенный неподалеку городок Зальцкаммергут кажется мне чудесным. Он влечет меня и манит. Названия населенных пунктов вызывают у меня представление о голубых озерах и живописных горах.

«Герми, — говорю я, — давай сделаем крюк, полюбуемся красивыми видами, нам легче будет преодолеть остаток пути». Герми согласна. Так мы подарили себе специальный маршрут, хотя уже был виден конец нашего долгого пути.

Возница разрешил нам взобраться на повозку. Был солнечный день, отступили невзгоды.

Проехали через Гмунден. Городок поразил нас: казалось, война и ее страшные беды совсем не коснулись его.

Идем вдоль озера по дороге, ведущей в Эбензее. Спрашиваем встречных, где можно найти квартиру. Нас приглашает к себе почтальон. Его дом стоит на холме недалеко от Траункирхена. Жена, уставшая от работы крестьянка,

поначалу не очень обрадовалась квартирантам.

В этой семье мы прожили четыре или пять дней. Оказалось, что хозяйка довольно общительна, и у нас установились с ней добрые отношения. К нашей радости, выяснилось, что они антифашисты. Мы о многом говорили, и вряд ли раньше хозяйка была с кем-нибудь так откровенна, как с нами, случайными путниками. В этой семье находили приют узники концлагеря Эбензее. Они не скрывали своего негодования по поводу поведения местного населения при нацистах, что вызвало удивление у наших хозяев. «Можно понять обиду узников,— тихо говорит хозяйка,— но я-то при чем?»

Я хотела узнать, многие ли жители оказывают помощь бывшим узникам, где находится концлагерь, сколько из оставшихся в живых заключенных смогло выйти из него, но добиться определенных сведений невозможно.

На следующий день мы отправляемся искать концлагерь. (Потом я узнала, что один из тех, кто проходил по одному со мной делу, австрийский писатель Отто Геллер, был замучен в Эбензее.)

Но к кому бы мы ни обращались, никто о местонахождении концлагеря ничего сказать не мог. Люди пожимали плечами, спешили уйти.

Я спросила о лагере у одного местного старика. Он плохо слышит, но когда понял вопрос, кричит: «Лагерь? Да, он был неподалеку, всех выпустили, а зачем, утопить бы их надо или во сне придушить, так нет, повыпускали...»

С тяжелым сердцем мы покидаем эти места, где ужасы пережитого вновь напомнили о себе.

В Перге мы ищем вокзал. Никогда бы не подумали, что совсем близко отсюда находится

Маутхаузен. Красивый мирный пейзаж, невольно возникает мысль: как дешево отделались от ужасов войны местные жители! Никто из них ни словом не обмолвился о том, что озверелые нацисты охотились здесь за бежавшими из лагеря узниками.

На вокзале обращаемся к дежурному — советскому офицеру. Он хочет нам помочь и указывает на поезд, который направится в Румынию, на нем мы смогли бы доехать до Вены. В вагоне нас тотчас окружают какие-то истощенные люди и возбужденно расспрашивают, кто мы, откуда и куда едем. Наши ответы их настораживают, нас подозрительно рассматривают, предполагают, что мы переодетые эсэсовки. Мы выскакиваем из вагона. Лишь потом узнали, что в вагоне находились бывшие узники Маутхаузена...

Зачастую кружным путем, но все же мы продвигались вперед, к цели. В пути мы многое испытали, многое узнали в дополнение к нашему большому и трагическому жизненному опыту. Герми шесть лет находилась в заключении, хлебнула много горя. Моих страшных четырех лет мне хватит на всю жизнь. Теперь надо жить. И в новых условиях, учитывая пережитое, создать жизнь лучше, сделать все, чтобы прошлое никогда не повторилось.

На последнем этапе пути нам удалось проникнуть в вагон для скота, заполненный людьми, и, кое-как приспособившись, сидя на корточках, проехать небольшое расстояние. Собирались сойти в Кремзе и переночевать, но проспали остановку. Ночью поезд вдруг останавливается, мы в испуге вскакиваем. Затем неподда-

леку от Гёбфритца поезд без видимой причины снова останавливается, потом идет дальше. Снова остановились. Слышна стрельба. В вагон врываются вооруженные люди. Я шепчу Герми: «Кто из нас дойдет до дому, тот должен рассказать, как все было!» Налетчикам пассажиры отдают свои ценные вещи, какой-то молодчик подносит к лицу Герми револьвер и освещает фонариком ее лицо. Нам бы помалкивать, как другие, но я протестующе кричу. Внезапно бандиты исчезают. Испуганные попутчики удивляются, что мы обе остались живы.

Мы голодны, очень хочется пить. Холодно.

Наконец выходим из вагона. До Вены уже недалеко. Но чем ближе наша цель, тем нам труднее. Мы настолько устали, что почти не в состоянии двигаться. От Штреберсдорфа едва тащимся пешком, и я спрашиваю себя, смогли бы мы выдержать, если бы надо было пройти еще 100 километров?

И вот наконец Имперский мост, Вена! Мимо проезжает повозка, в ней сидят несколько человек. Просим немного подвезти нас, но нам отказывают. Ничего не поделаешь. Еле живые, но мы в Вене! Из глаз текут слезы — не то от радости, что пришли, не то от грусти, что все оказалось совсем иначе, чем мы себе представляли.

Позади осталось почти 1580 километров. Срок восемь дней в пути. Сейчас середина июня. Официальное возвращение в Вену узников Равенсбрюка состоялось позднее — лишь 21 июня.

Сестра Герми встретила нас радушно и тепло. Как все вокруг изменилось! Но мы дома, в Вене! Это главное. Переполненная радостными чувствами и надеждами, отправляюсь на поиски друзей и близких.

БЕСЕДЫ С ГЕРМИ И МАЛИ

Беседы с Герми и Мали провели в рамках исследовательской программы «Роль австрийских женщин в антифашистском Сопротивлении 1938—1945 гг.» Карин Бергер, Элизабет Хольцингер, Шарлотта Подгорник, Лизбет Н. Тралори. Биографии Герми и Мали подготовила для этой книги Элизабет Хольцингер¹.

ГЕРМИ (МИНКЕРЛЬ)

«Шесть недель, в течение которых мы шли домой, были настоящим маршем назад в жизнь, возвращением к жизни. Мы шли от смерти к жизни.

Французы однажды сказали нам: вы как два солдата. Так оно и было: если кто-то из русских или французов начинал ухаживать за нами, то Мали объяснялась с ними на их родном языке, и поведение их резко менялось. Мы говорили с ними, как солдат с солдатом именно потому, что прошли суровую школу гитлеровских тюрем, потому, что долгое время находились в состоянии обороны или нападения».

К тому времени, когда Красная Армия освободила Равенсбрюк, Герми уже шесть лет как находилась в заключении — два с половиной года в тюрьме, три с половиной года в концла-

¹ Печатается с сокращениями в связи с тем, что о многом авторы сказали в книге.— *Прим. ред.*

гере. Она вступила в борьбу совсем молодой, сначала для того, чтобы найти место в жизни, затем сознательно участвовала в движении Сопротивления. Находясь в заключении, продолжала борьбу, как продолжает ее и сегодня — в движении за мир. В процессе борьбы крепла ее воля, мужали силы.

«Конечно, я принимала в расчет опасность, с ней надо было считаться. Но если ты участвуешь в борьбе, то о риске не думаешь. Об опасности — да, но большого страха не испытываешь. В тюрьмах и Равенсбрюке приходилось так часто идти на риск, что чувство страха куда-то исчезало. Ведь все, что мы делали, было опасно. Если ты вступилась за кого-то, кому-то помогла, ты уже преступница. Но если ты годами живешь в обстановке борьбы и опасностей и ты молод, впрочем мы и сейчас еще молоды, то о страхе не думаешь. Когда видишь рядом смерть и гибель, то думаешь не только о себе».

«Мы боролись везде — и в тюрьмах, и в концлагерях. Например, когда нас заставляли резать отходы бельевого искусственного шелка и скатывать их в рулоны (они потом поступали на фабрики для переработки, и из них делали ковры). Мы прятали внутрь рулонов маленькие записочки для работниц фабрик, чтобы они могли узнать правду о Гитлере, о фашизме, призывали к борьбе, саботажу.

В начале заключения я семь месяцев провела в одиночной камере. Было очень тяжело. Мне запретили читать и писать. В камере был стеллаж, я ставила его на койку, чтобы достать до окна, через которое объяснялась знаками с другими заключенными. Это немного скрашивало мое состояние.

В тюрьме было не так страшно, как в концлагере, там не очень рискуешь жизнью. В концлагере можешь потерять жизнь в любой момент: если ты не встала лицом к надзирательнице или на какой-то момент отстала от других, эсэсовка тут же могла тебя прикончить. В концлагере ты непрерывно находишься под угрозой смерти. И так же как в одиночной камере на тебя давит одиночество, в концлагере тебя подавляет масса людей. Ты ни на секунду не можешь остаться наедине со своими мыслями. За день смертельно устаешь, а ночью мучают вши и блохи, и ты не в состоянии уснуть. Потом команда: всем выйти вон! Обыск. Никогда не имеешь покоя».

В Равенсбрюк Герми попала в 1942 г. Роза Йохман смогла забрать ее к себе в блок, где находились политические заключенные, и пристроить на работу. Ханна Штурм взяла ее в команду ремесленниц. Герми работала там стекольщицей, потом ремесленницей на производственном участке лагеря и могла относительно свободно передвигаться по территории. У нее появилась возможность помогать товарищам. Тайком приносила еду больным, ей удалось спрятать двух узниц, которым грозил расстрел. Герми стала членом подпольного лагерного комитета австрийской и интернациональной групп Сопротивления.

«На производственном участке у ворот старого концлагеря стоял часовой. С повязками ремесленниц мы могли беспрепятственно здесь проходить. Вместе с Хеллой, полькой, очень ловкой девушкой, нам удавалось тайком пронести подметки для ботинок. За три недели пронесли подметки на пятьдесят пар обуви. Кожу

я находила в старом лагере, в подвале, это была кожа для сапог. Спрятав ее на животе под робой, я шла через весь лагерь. Однажды, выбравшись из подвала, я увидела стоящие рядом повозки с картошкой, которые загораживали путь. Обходить их кругом не хотелось, и я решила прошмыгнуть между ними. И вдруг чувствую, что моя добыча вот-вот упадет. А возле кухни стоит лагерная «ищейка»-уголовница. Увидев меня, кричит: «Что у тебя там?» Я задираю юбку и говорю: «Ничего, погляди!» Она ощупывает меня и ничего не находит. Слава богу, могу идти. Но если бы она обнаружила мою ношу, меня расстреляли бы.

Вот так в концлагере мы постоянно находились в опасности, но страха не испытывали. Видите ли, если бы меня в Равенсбрюке мучил страх, я не смогла бы делать то, что делала, меня бы обязательно застукали. Я выполняла все уверенно и бесстрашно, ибо знала: если попадусь, то меня расстреляют».

МАЛИ

«Мой жизненный принцип — нечто иное, чем просто желание выжить. В любых обстоятельствах я никого не выдала бы гестаповцам. Между ними и мной непреодолимая пропасть. Это ничего общего не имеет с героизмом, я не смелая, не храбрая. Гитлеровцы издевались надо мной, изуродовали мне руки, а сколько я получила от них пинков и пощечин! Тюремный следователь предложил устроить меня под чужой фамилией на предприятие — я как бы нырну, а потом появлюсь другим человеком. Но я не согласилась. Фашисты никогда не были и не могли быть моими партнерами. Ни на долю

секунды не поверила я, что они облегчат мою участь. С ними, воплощением смерти, у меня никогда не было ничего общего.

Находясь в гестапо, я иной раз думала: дело дрянь, не выживу. Меня подтягивали на цепях или ремнях за руки, завернув их за спину, придвигали вплотную к раскаленной печи. Однажды я заметила: вдоль стены комнаты, где шел допрос, тянутся пятна. Я догадалась, что это следы от слез. И тогда я как бы увидела не слезы, а огромные печальные глаза сотен и тысяч замученных здесь женщин. Я поняла главное: моя судьба — это судьба миллионов людей. В Освенциме я слышала от некоторых заключенных, что им просто не повезло. Как это неверно! Страшная судьба постигла миллионы!

Однажды в минуту полного отчаяния я подумала: ну теперь все, конец, жизнь потеряла смысл. Чтобы отогнать мрачные мысли, взбираюсь на койку, выглядываю в окно и вижу, что у окна камеры напротив стоит один из тех заключенных, кто ожидал казни. Я знаком даю понять, в каком я глубоком отчаянии, не знаю, что делать. Он меня не слышит, а я спрашиваю: имеет ли смысл надеяться? И хотя он не мог, конечно, понять, чего я от него хочу, он улыбнулся и несколько раз кивнул, словно говоря: да, да! Для меня это означало: пусть тебе кажется, что все потеряно, ты должна держаться до конца и продолжать свое дело!»

Мали родилась в 1912 г. в многодетной семье. Детство ее было голодным. Навсегда остались в памяти тщетные усилия родителей справиться с бедностью, одолевавшей семью. Постоянная жестокая борьба за существование не сделала ее равнодушной к страданиям других.

Благодаря помощи школьной учительницы Мали, хотя уже работала ученицей на предприятии, получила возможность посещать, а затем успешно окончить реальную гимназию. Ее друзьями стали люди, близкие ей по духу, члены Коммунистического союза молодежи. В 1933—1934 гг. Мали участвовала в работе Международной организации помощи борцам революции.

«В частной школе, в которой, между прочим, я училась бесплатно, обращали на себя внимание чванливые дети из очень богатых семей, но постепенно среди соучениц я нашла и интересных по духу людей. Были в школе и прогрессивно мыслящие учителя, без их помощи я не выдержала бы экзамены. Помню преподавательницу латыни, которая, в частном порядке и бесплатно давала мне уроки. Более того, она предоставила в мое распоряжение свою библиотеку. Я могла бывать у нее после обеда, выполнять задания, читать книги — немецкие, французские, по искусству, смотреть альбомы. Никто не докучал мне расспросами».

В 1935 г. Мали решила уехать в Лондон и наняться на работу в частный дом, чтобы не обременять родителей.

В Лондоне, работая поваром, она примкнула к австрийским коммунистам. В 1937 г. она в Париже, где принимает решение отправиться добровольцем в Испанию. Но поначалу работает в испанском информационном центре и одновременно учится на курсах по подготовке медсестер. Однако в Испанию ей попасть не удалось.

В 1940 г., когда гитлеровская армия приближалась к Парижу, Мали вместе с группой

австрийских политэмигрантов влилась в огромный поток беженцев, двигавшихся на юг страны. Из Монтобана она перебралась в Тулузу, где помогала австрийцам-интернационалистам, участникам боев в Испании, бежавшим из концлагерей, в которых они находились в качестве интернированных. В феврале 1941 г. многие австрийцы, среди них и Мали, были выданы предателем и арестованы.

«Мы, австрийцы, испытывали на себе что-то невероятное. Сначала нас обвиняли в том, что мы как нация, якобы являющаяся частью германской нации, причастны к нападению Германии на Францию. Мы попадали под подозрение, на нас смотрели как на нежелательных иностранцев. Когда фашисты оккупировали Францию, мы снова оказались нежелательными, так как были антифашистами. Так что в любом случае дела наши были хуже некуда. К тому моменту, когда нас арестовали, вишистское правительство де-факто легализовало коллаборационистский режим. Было принято решение о выдаче австрийских антифашистов немцам, хотя об этом официально не сообщалось».

«Прикованными к длинной цепи, которая волочилась за нами по земле, издавая глухой звон, нас — Хулио и меня — пригнали на вокзал. Можно себе представить, что за эшелоны шли в ту пору через всю Европу. Это были поезда, переполненные заключенными многих национальностей, большинство из которых везли лишь для того, чтобы казнить.

Я жадно всматривалась в лица жителей тех мест, по которым нас везли, пытаюсь прочесть на них хотя бы немое согласие с нами или намек на сочувствие. Могу сказать: я была потря-

сена! Эти люди не хотели иметь ничего общего с «предателями» и «недочеловеками». Тяжело говорить, но я не могу припомнить ни на одном лице проявления хотя бы жалости».

Когда в январе 1945 г. нацисты начали «эвакуацию» Освенцима, Мали была среди тех, кому «повезло» (если можно так сказать, когда речь идет о концлагере): она попала в Равенсбрюк. Там действовало объединение узников, которому, несмотря на чрезвычайно жесткие условия содержания в лагере и смертельную опасность, удавалось оказывать заключенным помощь.

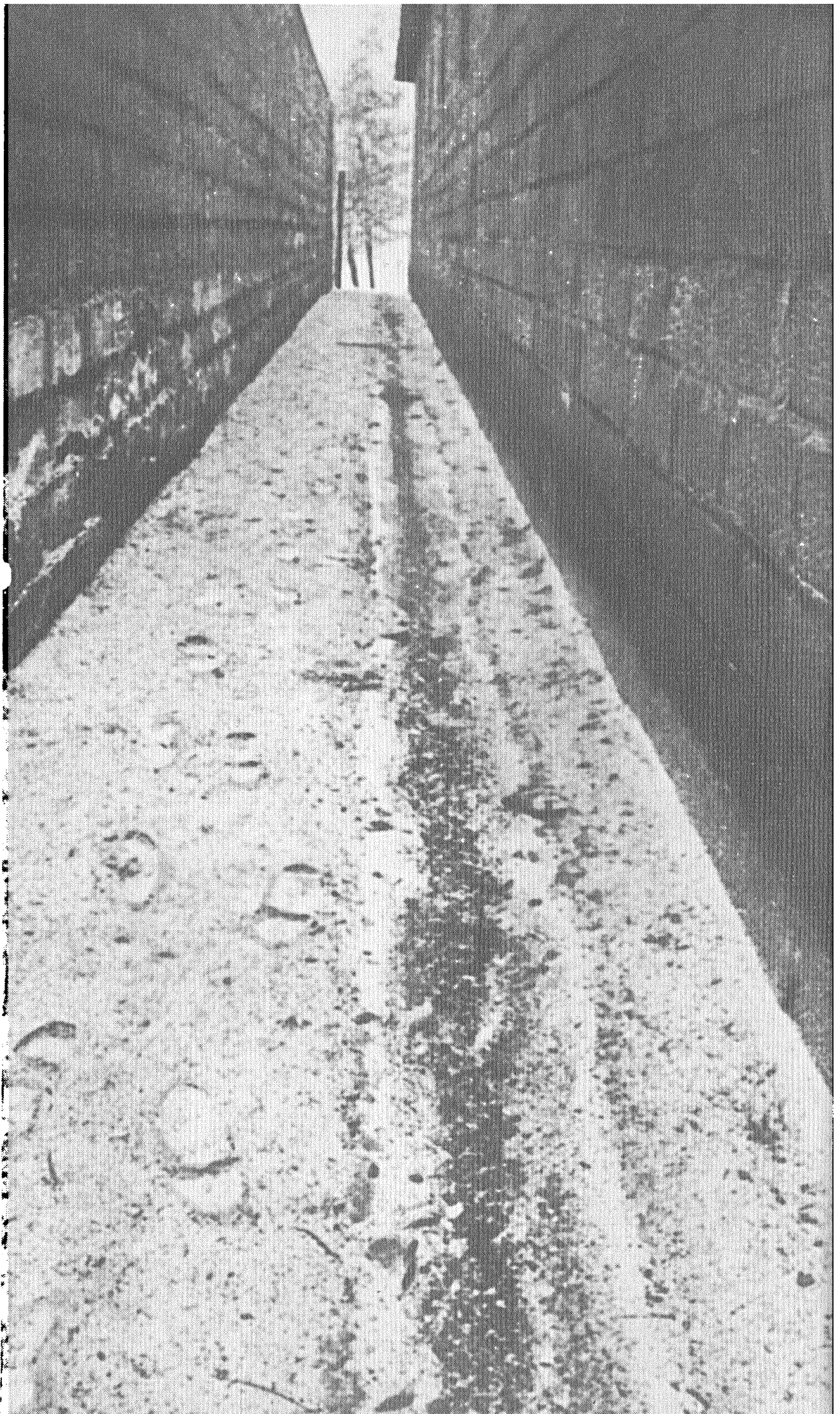
«Надо было заставить себя выжить, не одичать от голода и истощения, хотя сделать это в лагере смерти было очень трудно. Условия содержания в концлагере приводили к полному распаду личности заключенных, физически их убивали уже потом. Конечно, хотелось жить, но не любой ценой. Это не фраза: даже в обстановке царящего террора надо было прилагать усилия, чтобы оставаться человеком.

В том необъятном хаосе страха и смерти преобладали одичание и моральное разложение, состояние полной беспомощности. После войны это мешало бывшим узникам Освенцима делиться воспоминаниями о пережитом. И хотя неверно было бы говорить о преимущественной роли какой-либо отдельной личности в той преисподней, нельзя все же не подчеркнуть, что узники, не имевшие определенной политической позиции, перед лицом обрушившихся на них бедствий оказывались беспомощнее людей убежденных».

Всегда и везде Мали оставалась верной своим жизненным принципам.

СОДЕРЖАНИЕ

АД. 565 ДНЕЙ В ОСВЕНЦИМЕ-БИРКЕНАУ	3
Безродные и беззащитные	6
Случайная встреча	13
В июне сорок третьего...	14
Отправлена в Биркенау	21
Крысы любят простор	26
Страх	28
На уборке мусора	29
Хлеб	31
Внутри и снаружи	34
Охота за людьми	39
Сопrotивление или смерть	46
Гречанки	51
Оставаться человеком	55
Что такое «хорошая работа»	64
Злодейство напоказ	66
«Эти недобрые партизанки...»	67
Сигнал тревоги: Майданек!	—
Сыпной тиф	71
В пересыльном блоке	88
Ткацкое производство	93
Чесотка	97
От Штеффки из Марибора к Штеффке из Люблян	99
В Райско	101
Освенцим эвакуируется	105
В концлагере Равенсбрюк-Мекленбург	108
Ленхен Вебер из Саарбрюккена	110
Много лет спустя	116
Приложение	128
НАЗАД В ЖИЗНЬ	133
В томительном ожидании	135
Волнения, тревоги и — тишина	138
Они пришли	146
Прием на обочине дороги	150
Необычный вечер	156
Старый знакомый	160
Мир!	168
На Одере	170
Наконец отдых	175
Только вперед	180
Границы, границы...	186
Мы — в Австрии!	196
Беседы с Гермиде и Мали	200



35 коп.

